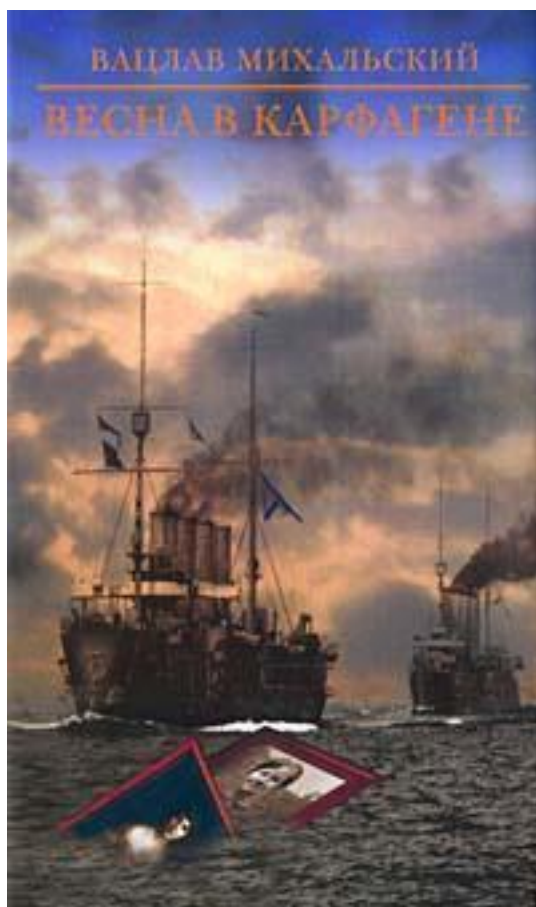


ВАЦЛАВ МИХАЛЬСКИЙ  
ВЕСНА В КАРФАГЕНЕ



Весна в Карфагене

Вацлав Михальский

**Весна в Карфагене**

## **Михальский В. В.**

Весна в Карфагене / В. В. Михальский — — (Весна в Карфагене)

Впервые в русской литературе на страницах романа-эпопеи Вацлава Михальского «Весна и Карфагене» встретились Москва и Карфаген – Россия и Тунис, русские, арабы, французы. Они соединились в судьбах главных героинь романа Марии и Александры, дочерей адмирала Российского Императорского флота. То, что происходит с матерью главных героинь, графиней, ставшей и новой жизни уборщицей, не менее трагично по своей силе и контрастности, чем судьба ее дочерей. В романе «Весна в Карфагене» есть и новизна материала, и сильная интрига, и живые, яркие характеры, и описания неизвестных широкой публике исторических событий XX века. В свое время Валентин Катаев писал: «Вацлав Михальский сразу обратил внимание читателей и критики свежестью своего незаурядного таланта. У него верный глаз, острый аналитический ум. Он прекрасно, владеет словом и знает ему цену. Ведущая сила его творчества – воображение... Женские образы в прозе Михальского всегда достоверны и неповторимы». Эти слова выдающегося мастера можно вполне отнести и к новой книге Вацлава Михальского.

## Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
I	5
II	7
III	13
IV	17
V	21
VI	23
VII	27
VIII	31
IX	35
X	39
XI	43
XII	46
Конец ознакомительного фрагмента.	47

# Вацлав Михальский

## Весна в Карфагене

*Одинокому везде пустыня.*

*Надпись на перстне, который носил А. П. Чехов*

*Посвящается Татьяне Вацлавовне Михальской и Светлане Васильевне Ивановой*

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

#### I

Много мечетей в славном городе Тунисе и всего одна православная церковь. Зато ее знают все туристы, никто не обойдет своим вниманием – ни немцы, ни американцы, ни русские, которые милостью Божьей в последнее десятилетие XX века тоже стали бывать на прелестных тунисских курортах.

Еще не успевшие выгореть темно-зеленые невысокие горы окаймляют город Тунис. Город, который по велению Римского Сената был построен в десяти тысячах шагов от моря. И шаги эти поручили отмерить самому рослому, самому длинноногую легионеру. Это было сделано для того, чтобы, во-первых, у нового города не было гавани, а во-вторых, чтобы, направляясь из городских ворот к морю, всякий не миновал пустошь на месте великого Карфагена, что был разрушен римлянами за 146 лет до Рождества Христова, пройден плугом в назидание побежденным и засеян солью в знак проклятия.

Русская церковь, под которой живет в последние годы Мария Александровна, стоит на главной улице Туниса. Ее белые стены отделяет от проезжей части, от шумно летящего потока легковых авто лишь невысокая железная ограда, выкрашенная черной краской и в сочетании с куполами православной церкви чем-то отдаленно напоминающая чугунные решетки Летнего сада.

Еще только апрель, еще настоящая африканская жара впереди. А к полудню асфальт на дороге жирно плавится лоснящейся черной лентой. Округа наполняется смешанными запахами смолы, мазута, выхлопных газов, а застывшее в полном безветрии белесое знойное море делает воздух в створе улицы и вовсе безжизненным.

С обеих сторон дороги стоят, словно нарочно вкопанные, стройные и будто неживые финиковые пальмы с их чешуйчатыми окостеневшими на вид стволами и длинными зеленоватыми листьями, словно вырезанными из жести и как бы подхваченными в пучок у самой верхушки.

Невдалеке отсвечивает затемненными зеркальными окнами новая гостиница из стекла и бетона. У ее парадного подъезда пританцовывает от переполняющей его радости обладания жизнью полненький смуглый мальчуган лет десяти. На голове у него большое блюдо, а в блюде и в руках аккуратненькие букетики желтоватых цветов жасмина, завернутых в бумажные кулечки, – видно, для сервиса. На мальчишке чистая белая маечка с короткими рукавами, чистые джинсовые шорты, крепкие коричневые сандалии, тоже очень аккуратные и вычищенные. Судя по всему, те, кто отправил его сюда торговать цветами, чистенького, такого вымытого, знают толк в бизнесе. А если мальчик действует самостоятельно и додумался до всего

этого сам, то, значит, вечно живы гены его великих предков карфагенян – лучших торговцев древнего мира.

Мальчик улыбается каждому встречному очень искренне, не то что без тени заискивания, а даже с некоторым подчеркнутым достоинством. Его черные лукавые глаза прирожденного торговца сияют весельем, надеждой и отвагой.

Наверное, оттого что у мальчика такой веселый, достойный и ободряющий вид, многие туристы из гостиницы с удовольствием покупают для своих спутниц букетики жасмина.

В последние десять – пятнадцать лет туристы ездят сюда очень охотно, особенно немцы. На городском базаре только и слышно: "А зо?", «Данке», "Вас костэт?"

Бывают в здешних местах и французы, еще не так давно хозяйничавшие в этом благодатном краю.

Бывают и англичане.

Полным-полно вдовствующих старушек с компаньонками из Соединенных Штатов Америки – этаких божьих одуванчиков в букольниках лилового цвета, почти бестелесных, но исключительно напористо поглощающих не только завтраки за шведским столом, но и все сведения обо всех достопримечательностях, все положенные им по плану экскурсии, все развлекательные мероприятия, все процедуры. Все, за что ими уплачено, – дотла. Так саранча где-нибудь у них в Айове или Арканзасе объедает каждую живую былинку – под ноль.

А как только в России установилась антисоветская власть, стали бывать здесь, в Тунисе, и русские люди. Эх, раньше бы! Сколько было бы встреч, сколько радости от братания соотечественников! Да, раньше было нельзя. Как говорит по этому поводу любительница пасьянсов Мария Александровна: "Так уж сложилось. Так карта легла".

По другую сторону от русской церкви, на этой же главной улице – большая круглая клумба, вокруг которой разворачиваются автомобили. Посреди клумбы ослепительно горит на солнце позолоченный конный памятник. Все в нем позолочено лучшим образом – каждая шпора, каждая складка одежды, каждая черточка лица горделивого всадника, каждый миллиметр конской стати и конского достоинства в натуральную величину. Это восседает на коне многолетний местный президент Бургиба, перехитривший французов. Он простер свою золоченую длань в сторону городского базара. Как шутят пожилые русские туристы, он указывает: "Правильной дорогой идете, товарищи!"

А рядом, в боковой улочке, на белом раскаленном тротуаре сидит нищий, закутанный с головы до пят в иссиня-черный плащ с капюшоном. Все его тело закрыто так плотно, что наружу торчит только кисть руки – с тыльной стороны ладони сухая темная, как кусок старого дерева, и чуть розоватая, похожая на морскую раковину, изнутри. Нищий безмолвен и недвижим, как изваяние. Это страшновато. Попробуй не подай такому! И многие поддают: срабатывает инстинктивная боязнь испортить себе жизнь.

Из гостиницы вывалилась толпа говорливых немецких туристов.

– Вас костэт?<sup>1</sup> Вас костэт?

Веселый мальчик быстро расторговал свои кулечки и помчался к хозяину за новой партией товара. Пробегая мимо нищего, ловко бросил в его ладонь монетку в полдинара. Юный финикиец не жадничал – он верил в свою звезду. Нищий склонился в почтительном поклоне, совсем не похожем на его дежурные кивки благодарности. Нищий кланялся от души, он знал, что мальчик поделился с ним не из львиной хозяйской доли, а из своих, кровно заработанных маленьких денежек.

---

<sup>1</sup> Сколько стоит? (нем.)

## II

"Севастополь – такой чистый, такой белый и синий город. Торжественный, как Андреевский флаг. Оттого что в Севастополе всегда был русский флот и летом жарко, там прогуливалось много молодежи в белом. И перед глазами, куда ни кинь взгляд, синее море, белые дома, люди в белом.

Плохо ли, хорошо ли, но все-таки я повидала добрый десяток стран и такого ощущения всеобщей чистоты и свободы нигде не припомню.

Белые шляпки и белые кисейные платья на барышнях, кипенно-белые кителя на молодых людях, приветливое сияние глаз на загорелых чистых лицах. Даже серые грубоотканые матросские рубы отдавали стерильной белесостью. А раскаленные на солнце, изъеденные волнами прибрежные камни как бы светились на фоне синего моря чистыми белыми пятнами. И еще белые глицинии, уйма белых глициний, и кое-где фиолетовые. Какая прелесть была во всем, какой порядок! Не дисциплина, не принуждение, не страх, а порядок... Божественный порядок во всем. И в житейских мелочах, и в общем движении жизни, и в движениях души.

На кораблях императорского черноморского флота каждые полчаса сухим и чистым звуком били склянки. По вечерам играл на набережной духовой оркестр, особенно часто – модные в те дни "Амурские волны". И сердце сжимало от гордости – где Севастополь, а где Амур! Боже мой – и все Россия!..

О, как вопит муэдзин с минарета ближней мечети, как тяжело колеблет горячий воздух его пронзительный, металлический голос: будто грешников помешивают на огромной сковороде большой железной ложкой.

– Али, аллах, акбар...

Какая красная земля в Тунисии. Красная и сухая. Как горячо лежать в ней русским косточкам!

Этот муэдзин совсем крохотный, почти бестелесный, что-то вроде сухого стручка, а голова на всю Ивановскую. Как там она теперь, Ивановская площадь в Московском Кремле, только и знаменита поговоркой?..

Иногда старичок муэдзин приходит к сторожу нашей церкви Али – они дальние родственники, к тому же когда-то в молодости служили в Иностранном легионе – эта красная земля долго была под Францией.

– Али, аллах, акбар! – ревет стереоустановка.

Старичок муэдзин давно уже приспособился не лазать пять раз в сутки по крутым ступеням на тридцатиметровый минарет, а просто тыкает кнопку, включает магнитофон со своим голосом, своим призывом правоверных к молитве, а сам занимается другими делами. Например, приходит иногда к Али пропустить стаканчик красного вина – знает, что грех, что запрещено Кораном, но любит – куда деваться? Тем более выпивают старики в полуподвальном помещении православной церкви, что, по мнению муэдзина, как бы снимает бо́льшую тяжесть греха.

Вот и теперь сидят они в теплой тени полуподвала русской церкви и, осененные православным крестом, пьют теплое красное вино.

А голос старичка муэдзина живет тем временем своей, отдельной от хозяина жизнью:

– Али, аллах, акбар!

Призыв правоверных к молитве у муэдзина на кнопке. А что удивительного, весь мир, говорят, на кнопке.

Пронзительный голос наполняет округу металлическим лязгом и воплями грешников – где-то там, наверху, под островерхим козырьком минарета, похожего то ли на стоячий отточенный карандаш, то ли на готовую к старту ракету – кому как покажется – по воображению...

Я никогда не учила английский, как-то он не был в моде... Немецкий – да, французский – само собой, греческий и итальянский – выучила между делом, латынь – за язык не считается, а вот английским никогда не интересовалась. И, вы знаете, он мне так и не понадобился. Даже тогда, в 1945 году, когда я была у благодарной леди Зии<sup>2</sup> в замке Лутон Ху<sup>3</sup> – там ведь все говорили и по-французски и некоторые по-русски... Мама читала романы только по-французски и говорить с нами старалась только по-французски, так что тунизийцы из здешнего высшего общества весьма удивлялись моему парижскому выговору.

Мы бросили якорь в Бизерте 25 декабря 1920 года. С тех пор практически все семейное мною утеряно, почти все реликвии, а паршивые местные газетки тех дней до сих пор остались. И где они со мной только не кочевали! Нужное пропало, необходимейшее исчезло, а этот хлам я так и возила из страны в страну, пока опять не вернулась в Тунизию. Особенно в последние годы я сто раз перебирала эти паршивые газетки с их паршивыми заметками, вроде этих:

## **"РУССКИЕ В БИЗЕРТЕ**

Совершенно без всякого энтузиазма мы смотрим на то, что флот Врангеля прибыл в Бизерту.

Кто эти люди? Ничего доподлинно не известно.

Мы вправе опасаться, что в их ряды просочились самые худшие элементы, контакт с которыми для наших частей, возможно, очень опасен.

Говорят, что их посадили на жестокий карантин из соображений гигиены. Так пусть этот карантин продлится на весь срок их пребывания!

Если вдруг случится так, что экипажи высадутся на берег, то мы советовали бы торговцам Бизерты проявлять в отношении их крайнюю осторожность. Приемлема лишь оплата золотом, потому что в настоящий момент в белой или красной России нет больше банкнот, имеющих хоть какую-нибудь международную ценность. Большевики не только пустили в ход безмерное количество ассигнаций, но и отравили всю страну с Севера до Юга фальшивыми банкнотами иностранных банков. И тогда какой монетой моряки Врангеля будут расплачиваться за свои покупки?

Остается лишь сожалеть о наивности, с которой французское правительство бросило миллиарды в денежных знаках и во всякого рода пособиях, чтобы поддержать генералов и так называемые контрреволюционные части, которые должны были преградить путь бандитам, правящим в Москве".

## **"ОБЛОМКИ ОТ КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ ВРАНГЕЛЕВСКОГО ПОХОДА**

Известно, что в результате краха армии Врангеля более ста тысяч русских, как военных, так и гражданских, были вынуждены бежать из Крыма.

Помимо самого Врангелевского флота, они были перевезены силами правительства союзников во все области, где существует надежда обеспечить им выживание.

---

<sup>2</sup> Леди Зия, она же графиня Анастасия де Торби – правнучка Александра Сергеевича Пушкина.

<sup>3</sup> Замок Лутон Ху – второй замок Англии по величине и богатству после Виндзорского дворца. В настоящее время, по свидетельству очевидцев, пришел в упадок.

"Австрия" и «Брисгавия» – французские суда, имеющие на борту 4000 беженцев, бросили якорь 17 декабря в Каттаро.

Капитаны этих двух судов вчера утром направили телеграмму, в которой они заявили, что санитарное состояние на кораблях вызывает тревогу и что, с другой стороны, на земле нет никакого укрытия, чтобы принять больных".

## "СЛАВЯНСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ"

Дипломатическая миссия Сербо-хорватско-словенского королевства протестует против несправедливых обвинений в недостаточной солидарности с русскими беженцами. Большая часть беженцев из Крыма уже прибыла в Далмацию. По прибытии по санитарным нормам и предписаниям они должны пройти карантин. Но карантин проводится в санитарных бараках, а не на борту тесных кораблей".

"Мне подарили место, где меня похоронят. Здесь был один русский господин, который переехал в Париж. У наших другого пути нет: или на кладбище, или в Париж. Так вот, приходит как-то этот господин и говорит: "Мария Александровна, я знаю ваше нынешнее положение и хочу подарить вам место на кладбище. Так что имейте в виду – все бумаги оформлены и нужные инстанции уведомлены. Вы, конечно, меня не помните, но я никогда не забуду, что вашим попечением вышел в люди. Десятки таких, как я, учились в Европе и в Америке на ваши деньги. Все знают Мату Хари<sup>4</sup>, и никто не знает о вас только оттого, что вы русская эмигрантка. Ваша слава была бы невыгодна как Советам, потому что вы эмигрантка, так и союзникам, потому что вы русская. Сейчас вас все забыли, а может быть, если бы не вы, союзники не открыли бы второй фронт вовремя". В общем, веселый такой господин и болтал про меня всякое: и про войну, и про мое бывшее положение среди тунизийских царьков, и прочее. На что я ему ответила: «Не извольте, сударь, обо мне беспокоиться... а об истории вообще так нельзя говорить: „если бы...“. Если бы да кабы, во рту выросли грибы!» Но господинчик оказался очень настырный, даже взял меня почти насильно в свой автомобиль и повез смотреть место на кладбище. Хорошее местечко, приличная компания, ничего не скажешь. Я даже, признаться, не ожидала: между капитаном фрегата Вадимом Бирюлевым и княгиней Шаховской. Рядышком еще капитан фрегата Александр Карпович Ланге, кстати, мой дядя, и Раиса Александровна Мордвинова. В ногах – генерал Басов, памятник у него белого мрамора. Здесь мрамор дешевле кирпича..."

"Отец мой Александр Иванович был вице-адмирал, его убили товарищи в 1919 году, он был градоначальником города Николаева. А моя мама Анна Карповна еще больше морская, самая морская в нашей семье – ее дед Михаил Иванович был контр-адмиралом. Мой старший брат Евгений Александрович писал историю Черноморского флота. Он погиб в первую германскую. В 1914 году, 5 ноября по старому стилю, был бой. Много он успел написать, две тысячи страниц, и я всегда эту рукопись возила с собой, во всех странствиях, а года два назад взял ее у меня один русский господин, чтобы переснять, и не вернул".

---

<sup>4</sup> Мата Хари (Mata Hari; сценическое имя Маргарет Маклеод) (1876—1917) – нидерландская танцовщица. В 1917 году обвинена в шпионаже на территории Франции в пользу Германии в период первой мировой войны. Приговорена к смертной казни и расстреляна 15 октября 1917 года во Франции.

Все это Мария Александровна иногда думает, иногда говорит вслух. Не то чтобы вспоминает события и картинки своей жизни специально, а как-то так – проплывают они в ее сознании вроде сами собой, не нарочно, а вместе с движением крови по окаменевшим заизвесткованным сосудам, как бы от ударов сердца. Ударит сердце, вытолкнет кровь, и поплывет картинка – то вдруг пронзительно четкая, до каждой паутинки, до каждой крапинки: то фокус пропадает, и картинка стусевывается, расплывается. А то и вовсе безо всяких картинок, нахлынут вдруг голоса прежней жизни, как шум в ушах, а иногда не только голоса, но даже запахи...

И что скрывать, частенько она заговаривается сама с собой, притом довольно громко, – слышит-то плоховато. И тогда обязательно окликает ее сторож Али – веселый старый араб в голубом берете:

– Абек ки парле ву, мадемуазель?<sup>5</sup>

– С Пушкиным! – язвительно отвечает ему Мария Александровна.

– Пучкин! Пучкин! – радуется Али своей постоянной шутке и всегда хлопает от восторга в ладоши. Жизнь у них не слишком разнообразная, так что каждая мелочь радует, а ладони у Али твердые, будто костяные, и хлопки получаются резкие, клацающие.

– М-гав! Гав! – вскидывается на звук этих хлопков дремлющий в тени церквушки желтопалевый Бобик.

– Но, Боби! – одергивает собаку Али и снова начинает смеяться своей шутке и громко выкрикивать: – Гран пэр Пучкин! Гран пэр Пучкин!

– М-гав! М-гав! – вторит ему Бобик.

– Гран пэр Пучкин! Гран пэр Пучкин! – веселится Али, уверенный в том, что Пушкин – родной дедушка Марии Александровны. Маленький, исполненный пером на грубой, пожелтевшей бумаге портрет А. С. Пушкина в изящной рамочке слоновой кости и под стеклом висит на стене в ее просторной комнате. Портрет этот очень похож на миллионы растиражированных пушкинских автопортретов, и только специалист поймет и оценит – портрет подлинный, начертанный быстрой рукой самого Александра Сергеевича. Рядом с портретом Пушкина два маленьких холста, писанных маслом, но даже без рам, на одних только подрамниках. На одном холсте – парусник в бурном море, а на другом, который чуть побольше, развалины амфитеатра, мраморные пеньки ушедших в землю, изъеденных временем колонн, и на переднем плане несколько тонких-тонких, ярко-зеленых, непобедимых травинок. А в красном углу комнаты – иконка Казанской Божьей Матери.

Видит Мария Александровна неважно, слышит плоховато, зато осязание и обоняние у нее как у юной. В этих последних двух плоскостях она и старается двигаться, как в колее. Да еще память о прошлом с каждым годом становится все лучше и лучше. Отличная память. И все крутит, крутит картину жизни, такой большой и такой коротенькой...

Три года назад был у нее девяностолетний юбилей, ее тунизийские воспитанники приехали за ней на машине, отвезли к себе на виллу и угостили очень неплохо. Один из ее воспитанников – банкир, другой – крупный врач-гинеколог. Нет, нет, она на них не в обиде, хорошие мальчики, ее арапчага. Оба наперебой звали ее жить к себе, но она и на этот раз отказалась. Объяснила, что под родной церковкой ей спокойнее – отпевать не надо нести, а она очень бы не хотела помереть не отпетая. То, что она живет теперь в просторном и сухом полуподвале под церковью, и для здоровья полезно – не жжет ее африканское солнце, не томит так, как это бывает наверху, ветер пустыни Калима<sup>6</sup>. Но главное – надо только поднять гроб наверх, в церковь, и отпевай себе в свое удовольствие. Поп в этом приходе грек – ни бельмеса не знает по-русски. Да и живет за сто километров, в Бизерте, а сюда, в столицу Тунизии, ездит не часто,

---

<sup>5</sup> – С кем вы говорите, мадемуазель? (франц.)

<sup>6</sup> Название ветра, дующего из Сахары.

только по большим церковным праздникам. Но для этого дела, конечно, его привезут специально, тут уж просто деваться некуда, вот что замечательно!

Уже три года не поднималась Мария Александровна из своих покоев к амвону – ступеньки больно крутые, – но помнит всю церковку – от притвора до иконостаса – как живую. Большие тусклые буквы ХВ над амвоном, старенькие венские стулья цвета луковой шелухи, очень приятные на ощупь, какие-то очень свои. На левой от входа стене темная доска с золочеными буквами:

*"Вечная память*

*Федоров Кирилл*

*Юргенс Николай*

*Груненков Михаил*

*Александров Николай*

*Шаров Кирилл*

*Харламов Георгий*

*Русская колония в Тунисии своим сынам*

*павшим на поле брани*

*1939—1945".*

Да, была здесь когда-то колония на пять тысяч человек, но сейчас почти обезлюдела – кто на кладбище, кто в Париже.

Давно известно: Париж всегда Париж. А и на здешнем, тунизийском, кладбище тоже неплохо: сухая красная земля и такие крупные, такие ярко-белые ромашки, каких она не видала в России. И еще очень много улиток. А в общем, сухо, чистенько, она уже примерялась... Сколько боевых русских командиров и матросов лежит на этом тунизийском кладбище, но там, в России, верно, о них ничего не знают. И о ней ничего не узнают... Ну и пусть. Ну и славно.

Говорят, прогнали Советы-моветы, весь мир радуется. Ну и что? Жизнь-то прошла.

В последние годы ей стала сниться сестрица Сашенька – кудрявая, белокурая, в бело-снежной пелеринке, такой она ее только и видела – в двадцатом Сашеньке исполнился всего годик. Она родилась уже после гибели папы. Сашенька была что называется последыш. Ко времени ее рождения отцу было едва за пятьдесят, а матери чуть ли не сорок лет.

Прежде она, Мария, редко вспоминала о Сашеньке, а сейчас видит ее часто, и такое впечатление, что Александра где-то там, в России... Что ж, всякое чудо могло случиться. Хотя те, кто видел маму и Сашеньку, говорили, что якобы они попали на другой пароход, на английский. Может быть, и на английский... Но сколько она ни искала их по свету, так и не нашла. А сейчас кажется, что жива сестрица, жива... Она даже лица ее толком не помнит. И следа никакого нет. Все, что осталось, – фотография мамы у камина с Сашенькой на руках. И то только она, Мария, знает, что на руках у мамы именно Сашенька. Осталась ведь и не фотография, а только обрывок: лицо мамы, и вся ее фигура в длинном траурном платье, и ручонка Сашеньки в белой пелеринке, и часть камина, а половина маминой головы, плечо, к которому прижималась Сашенька, да и сама сестричка исчезли вместе с другой частью фотографии.

А на самом переднем плане часть их высокого, большого, прямоугольного камина, облицованного малахитом. Разводили огонь в этом камине только в дни рождений, дни ангелов, по большим церковным праздникам или по папиному желанию, но тогда только для него одного.

Разводили огонь. Лицом к камину, бритым затылком к входной двери садился в глубокое кожаное кресло адмирал... и все замирало в доме...

Кто его знает, о чем он думал, так самоуверенно и доверчиво сидя затылком к двери?

Что ему виделось за стеной легкого пламени?

Вряд ли тот пьяненький подросток-конвоир в рваной кожаной куртке с чужого плеча, что вдруг больно запнулся о камень на скользкой дороге, потерял равновесие, плюхнулся в лужу. Его товарищи-конвоиры дружно рассмеялись. Подросток вскочил на ноги и, чтобы сорвать зло, вдруг выстрелил из нагана в адмиральский затылок... Это случилось осенью 1919 года, на окраине того самого города, который еще недавно был "вверен его попечению". Был убит адмирал "при попытке к бегству". Не сберег адмирал ни семьи, ни города, ни жизни своей, ни Отечества. А мог бы сберечь все. Но был он слишком доверчив и воевал как жил: по правилам чести.

### III

Сколько помнила себя Александра Александровна, жили они с мамой очень бедно, почти на грани нищеты. Но мама всегда ухитрялась кормить свою Сашеньку досыта и очень вкусно. Мама умела из ничего состряпать такую аппетитную и красивую на вид еду, что Сашеньке только и оставалось, что уплетать ее за обе щеки.

Ах, какие вкусные борщи варила мама!

А вареники? С творогом, с вишнями, с толченой картошечкой, заправленной золотистым жареным луком.

Обычно Сашенька просыпалась поутру от запаха чего-нибудь вкусенького. Тогда все готовили на вонючих керосинках, но у мамы так все спорилось в руках, такая была чистота во всем, такой порядок, что даже керосинка обычно не позволяла себе коптить, только пахла в углу почти приятно: вовремя подрезанным фитилем, керосином...

С тех пор минули десятки лет, давно уже керосин вышел из повседневного быта, на нем только самолеты летают, а Александра Александровна все еще четко улавливает его малейший запах, и он сразу же напоминает ей о детстве, о больном горле, о красных миндалинах, которые она, широко раскрыв рот, рассматривала в ручное зеркальце.

Мама заставляла полоскать горло керосином. Керосин помогал не раз и не два – лет до четырнадцати Сашенька часто болела ангиной. А потом как рукой сняло – ни в юности, ни в зрелые годы, ни сейчас, в старости, ни разу не бывало у нее ангины. Даже на фронте, когда приходилось часами брести в ледяной воде, под дождем, под мокрым снегом, на ветру...

Да, просыпалась Сашенька обычно от запаха чего-нибудь вкусенького.

– Пидымайся, дывчина! Звит заспышь! Ось и оладучки тобі спекла таки гарнэсенки! – приговаривала мама что-нибудь вроде этого.

Она всегда говорила со всеми только на украинском языке. По паспорту мама была Ганна Карповна Галушко, а звали ее кто Ньюрой, кто Карповной. Считалось, что русского языка она не знает и учиться ему не хочет, а умеет говорить только по-украински. Вернее сказать, ничего насчет нее не считалось – никто никогда не задавался мыслью о каких бы то ни было познаниях дворничихи Ньюры, всегда молчаливой, почти круглый год укутанной в истончившийся от многолетней носки и частых стирок клетчатый шерстяной платок какого-то хмурого цвета; а летом, в зной, она ходила в вылинявшей цветной косынке, закрывающей лоб до самых бровей и глухо завязанной под подбородок – по-крестьянски; и зимой и летом всегда в кирзовых сапогах с короткими голенищами, с метлой или вениками, с помойными ведрами. Всегда молчаливая и безропотно услужливая для всех без исключения. Всегда с погасшими глазами, смотрящими как бы внутрь себя – так, что никто бы и не сказал сразу, какого цвета у нее глаза. Одна Сашенька знала, что глаза у мамы удивительные, темно-карие, чуть раскосые, очень грустные, для чужих пустые, а для нее, Сашеньки, иногда вспыхивающие так ярко, так лучисто, что этим светом озарялось не только все мамино лицо, но, казалось, вообще все вокруг, вся их жизнь!

А обычно, не считая этих редких вспышек, мама не то чтобы была в тени жизни, а даже как бы сливалась с окружающими ее предметами.

Главное слово, которое она употребляла, было слово "мабуть".

На все вопросы был один ответ: «Мабуть». Что по-русски означает: "Возможно".

Мама работала одновременно в трех местах: в школе, где училась Сашенька, – уборщицей, в детской поликлинике, где лечилась Сашенька, – уборщицей и, наконец, во дворе их большого московского дома – дворничихой.

Только став взрослой и родив собственную дочь, Сашенька в полной мере оценила эту мамину жертвенность. Работая именно в этих трех местах, мама как бы прикрывала главные направления ее, Сашенькиной, жизни, ее судьбы.

Жили они с мамой в большом доме недалеко от Курского вокзала. Вернее сказать, не в доме, а во дворе дома, в пристройке к котельной. Наверное, эта пристройка была сделана специально для дворника и называлась на старинный лад «дворничкой». Пристройка представляла собой большую комнату без сеней, с входной дверью прямо во двор, с огромным деревянным ларем у входа, с большим окном в потолке. Вдоль стен проходили из котельной трубы, довольно толстые и зимой очень горячие, так что от холода они с мамой не страдали.

И зимой и летом мучило окно в потолке: зимой его заметало снегом, летом заносило пылью. Так что Сашеньке частенько приходилось лазить по прикрепленной к наружной стене «дворничкой» железной лесенке и сметать с окна снег и пыль. Весною и осенью окно промывали дожди – оно было вделано в потолок не горизонтально, а под углом, так что вода стекала с него очень хорошо.

В школе и во дворе Сашеньку дразнили Галушкой. Она ненавидела свою фамилию: Галушко. Ей безотчетно нравились фамилии с окончанием на «ский», «ская». Лет с одиннадцати она решила, что обязательно выйдет замуж за человека с такой фамилией. Она даже маме об этом не говорила: боялась обидеть. Лелеяла свою сокровенную мечту в одиночестве. Часто, глядя в окно в потолке на проплывающие в московском небе облака, она мечтала о том дне, когда наконец у нее будет другая фамилия. Ей казалось, что с того момента все в ее жизни переменится к лучшему, что распахнется перед ней, как в сказке, какой-то неведомый мир. Да, распахнется прекрасный новый мир, и из дворничихиной дочки Галушки в лиловом байковом пальто на вате она превратится... В кого она превратится, Сашенька не могла придумать, но сердце сладко замирало от предчувствия неминуемой радости.

Как дочери одинокой дворничихи ей покупали от школы раз в два года зимнее пальто и раз в год ботинки. Всегда покупали пальто серое, а в седьмом классе купили лиловое с искрой. Боже, как неудобно, как унижительно чувствовала она себя в этом пальто. Казалось, каждый встречный, глядя на нее, знает, что пальто ей купили от школы как подаяние. Сколько было пролито слез, как саднило в груди от обиды, а мама уговаривала:

– Змыри хордыню, доню, змыри!

Но смирить гордыню она не смогла и утопила пальто в Язуе.

Уже подули вешние ветры, уже лед почти весь сошел, и тяжелая серая вода поднялась в бетонных берегах и текла шумно, весело, и день прибавился очень заметно, но было еще холодно.

Она сняла пальто на мосту через Язуу и бросила его вниз, и оно поплыло лиловым пятном, широко раскинув рукава, тяжелея с каждой секундой, напиваясь водой и погружаясь. Саша провожала его глазами до тех пор, пока оно не скрылось под водой далеко по течению.

Пока она добежала раздетая до дому, так продрогла, что мама даже не спросила про пальто: она сразу все поняла. Обняла ее, а потом раздела донага у горячих труб парового отопления и докрасна растерла мочалкой, особенно сильно ступни ног, так, что они прямо горели. Потом мама так же молча одела ее как маленькую и только тогда сказала:

– У школе був чоловик, записывав на медичек. Пийдэш у медсестры?

– Я? – удивилась Сашенька. – В медсестры? С удовольствием!

Так было решено, что после семилетки она пойдет в медицинскую школу при одной из больших столичных больниц.

В медицинскую школу Сашенька поступила легко. А вскоре и мать перешла туда работать уборщицей, оставив свое место в Сашенькиной школе.

До Москвы они с мамой, что называется, помыкались по белу свету. Сначала, по рассказам мамы, жили в станице, где-то под Харьковом. Потом мама завербовалась на край земли – в Благовещенск на Амуре. Если станицу Сашенька не запомнила, то Амур помнила очень хорошо. Помнила почти игрушечных китайцев в маленьких лодках посреди Амура-батюшки. Помнила вальс "Амурские волны" – его всегда играли на нашем, русском берегу. Но особенно

врезалась ей в память рябая полоса воды свинцового цвета. В том месте, где в Амур впадала Зея, полоса воды более темная, чем все зеркало реки. И сейчас, в старости, когда многое быльем поросло и забыто начисто, до каждой крапинки, до каждой воронки помнит Александра Александровна эту рябую темную полосу воды двух слившихся рек. Может быть, она держит в памяти эту картинку не случайно, а как свою сопричастность необъятной русской земле, как доказательство того, что и раньше она жила на свете, что не сразу стала старухой, а была и молодой, и даже маленькой девочкой.

В Благовещенске они с мамой долго не задержались.

Потом был Петропавловск-Камчатский. Авачинская бухта, на берегу которой летом Сашенька собирала морские звезды – уже сухие, песочного цвета, с пупырышками, полые внутри. Авачинская бухта была небольшая, аккуратненькая, но из нее открывался поразительный вид на Тихий океан. Там, в Петропавловске, она впервые увидела океан, и он взволновал ее, как потом взволновала любовь с первого взгляда, она почувствовала какой-то необыкновенный прилив отваги в своем маленьком теле, почувствовала свое могущество и причастность необъятному серому океану, уходящему за горизонт. Потом она прочла у Чехова: "Море было большое". Как писал Антон Павлович, так отозвался о море в своем гимназическом сочинении маленький мальчик. И еще великий писатель утверждал, что "лучше не скажешь". Да. "Море было большое". Действительно, трудно придумать о море что-нибудь более точное.

Мама работала на рыбозаводе. У нее были красные ладони, распухшие пальцы, и от нее всегда пахло свежей рыбой. Из окна общежития, в котором они жили, была хорошо видна курящаяся в снегу Авачинская сопка.

А еще Сашенька запомнила жимолость – продолговатые маленькие ягоды фиолетового цвета на невысоких кустах. Ягоды были водянистые, почти безвкусные, чуть сладковатые, но очень освежающие.

И еще где-то там было Синичкино озеро. Но то ли оно было на Амуре, то ли на Камчатке, Саша не запомнила точно<sup>7</sup>.

Море всегда волновало ее как-то особенно, на торжественный лад – в груди сладко щемило и на глаза навертывались слезы. Точно так же, как при звуках "Прощания славянки" и "Вставай, страна огромная!".

К семи годам, когда Сашеньке надо было идти в школу, они очутились в Москве. Как это удалось маме, Сашенька не знала и не знает до сих пор.

Мама считалась неграмотной, расписывалась крестиком и книг в руки не брала. А Сашенька читала запоем, к счастью, было что читать. Однажды мама приволокла с мусорки гору книжек – умерла одинокая старуха-профессорша, комнату ее быстро заняли в порядке уплотнения новые жильцы, а библиотеку выбросили на помойку.

Второй, третий, четвертый, пятый, десятый раз они с мамой таскали книжки. Чего здесь только не было! Вся русская классика, десятки замечательных словарей, сотни переводных книг и даже книги на французском и немецком языках.

– Мама, а нерусские зачем? – спросила Сашенька.

– Да хай будут, – ответила мама, – мабуть, нада. Спросять, а у тоби исть...

Они сложили книги в огромный деревянный ларь, что стоял у дверей их «дворницкой» и где хранились ведра, веревки, веники, мешковина на тряпки, лопаты, совки и прочая хозяйственная всячина.

Они набили ларь сотнями книг. Сашенька буквально поглощала их все детство, отрочество, всю юность – пока не ушла на фронт.

---

<sup>7</sup> Синичкино озеро в районе города Благовещенска.

Время от времени мама вынимала из ларя две-три книги, как она говорила, чтобы не «заплеснили». Но удивительным образом это оказывались те самые книжки, которые захватывали Сашеньку с первых страниц и не отпускали до последней точки.

Иногда Сашенька читала неграмотной маме вслух. Так они прочли сказки Пушкина, "Робинзона Крузо", «Каштанку», тургеневскую «Асю», "Капитанскую дочку", «Тамань». Мама хотя и не говорила по-русски, но понимала все хорошо. Она не высказывалась по поводу прочитанного. А если Сашенька настойчиво спрашивала, отвечала односложно:

– Нравится? А як же? Читай ще. – И улыбалась так ясно, светло, что ее чуть раскосые темно-карие глаза сияли таким чистым, одухотворенным светом, и в эти минуты ее бывало просто не узнать. Словно то был какой-то совершенно другой человек, а не безответная дворничиха Нюра.

А когда Сашеньке было уже лет пятнадцать, прочли вслух даже "Войну и мир". Правду сказать, «войну» по общему согласию они пропускали, читали только "мир".

Читали всю зиму. Бывало, мама сидит под лампочкой, что-то штопает, вяжет, или чистит, или гладит – одним словом, делает что-то руками, она всегда что-то делала, непрерывно. Сашенька вообще не помнила мать, сидевшую сложа руки. Так вот – мама что-нибудь делает по хозяйству, а Сашенька сидит с ногами на старой кушетке и читает вслух: "Наташа сбросила с себя платок, который был накинут на ней, забежала вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движение плечами и стала..."

По вделанному в потолок окошку «дворничкой» шуршала снежная заметь, глухо, чуть слышно звякало что-то за стеной в котельной, наверное, кочегары загружали на ночь уголь, урчала какая-то заехавшая во двор автомашинка – в их большом доме жило много больших начальников, которых привозили и увозили на машинах. А они с мамой были в эти минуты далеко-далеко – в «охотничкой» дядюшки Наташи Ростовской, вместе с Наташей и Николенькой. Дядюшка заиграл на гитаре «Барыню», а Наташа вдруг вызвалась танцевать...

"Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, – эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, – этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые *ra de shale* давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, неизучаемые, русские, которых не ждал от нее дядюшка. Как только она стала, улыбнулась торжественно, гордо и хитро-весело, первый страх, который охватил было Николая и всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошел, и они уже любовались ей".

В тот вечер мама вязала из разноцветных мотков старой шерсти свитер для Сашеньки. Трубы, проходившие вдоль стены, дышали жаром, немного пахивало керосином от горевшей в углу керосинки, стоявший на ней голубой эмалированный чайник начинал подсвистывать носиком, приоткрываясь закипеть.

"Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала ей необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей, в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умела понять все то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке".

Чайник засвистел вовсю. Мать вскочила, отбросив вязанье на кушетку, в ноги Сашеньки, делая вид, что спешит к чайнику, не в силах сдержать слез. Погасив керосинку, она тут же распахнула дверь, шагнула раздетая во двор, в снежную мглу, вернулась минуты через три-четыре уже совсем другая – погасшая, обыкновенная дворничиха Нюра.

## IV

В тени за церковью Воскресения Христова растянулся в блаженстве темно-палевый Бобик, или, как зовет его сторож Али, – Боби. Бобик пес не простой, хоть и дворняжка. Видно, был у него в роду какой-то своенравный аристократ. Главное лицо для него – Мария Александровна, а ко всем остальным, в том числе к Али и его приятелю муэдзину, он относится, можно сказать, как к равным. Например, если Али напьется пьяным, то он ворчит на него, не исполняет никакой его команды, а иногда может и тяпнуть, правда, слегка, как бы только обозначая действие. С первой звездой, что зажигается ночью в глубоком бархатном небе Туниса, Бобик приходит на порог комнаты Марии Александровны и ложится охранять ее до рассвета.

Жарко Бобику, тошно, а тут еще эти проклятые африканские блохи донимают обжигаящими укусами. Он пытается изловить их, клацает зубами, но все без толку – негодяи слишком проворные. Надо бы встать, встряхнуться и заняться этими тварями со всей собачьей ответственностью и смекалкой, но Бобику лень.

Полдень. Маленькое ослепительное солнце в зените. Высоко в небе одно только перышко. Полный штиль. Все живое затаилось по теням и норам. Только гудят и шелестят шинами проезжающие мимо церкви авто.

Церковь Воскресения Христова, в полуподвале которой проводит свои дни и ночи Мария Александровна, появилась в городе Тунисе после второй мировой войны, а точнее, в 1957 году. Как и церковь Александра Невского в Бизерте, постройки 1937 года, эта церковь также была воздвигнута на пожертвования русских эмигрантов. И в том и в другом случае Мария Александровна принимала не последнее участие. Она в значительной степени финансировала оба проекта – некоторые об этом догадывались, но знал все доподлинно только ее партнер по банковским операциям в Тунизии и в Европе господин Хаджибек. Деньги свои Мария Александровна вносила тайно и не потому, что скрывала доходы, а оттого, что не хотела выпячиваться в таком деликатном деле, не хотела козырять своими возможностями, противопоставлять свои тысячи лепте вдовицы. Например, на храм Воскресения Христова, который стал теперь ее последним домом, Мария Александровна внесла десять вкладов – девять тайно и только один открыто, от своего имени. Каждый из этих десяти вкладов в отдельности не лез в глаза своей величиной, но, сложенные вместе, они составили значительную сумму.

– Служив отлично, благородно,  
Долгами жил его отец,  
Давал три бала ежегодно  
И промотался наконец,

– бормочет в полудреме Мария Александровна и чувствует, что ей легче дышится. Она давно заметила целебную силу стихов Пушкина. Еще ее мама, Анна Карповна, говорила, что знание стихов не только облагораживает душу, развивает память, но и укрепляет здоровье. У них в семье было принято учить стихи. А ее погибший в морском бою старший брат Женя знал наизусть всего "Евгения Онегина", всего «Демона», всего «Конька-Горбунка» Ершова и многое-многое другое.

Сотни стихов держала в памяти Мария Александровна и даже сейчас, на девяносто пятом году жизни, помнила многое. Теперь, когда она почти оглохла и ослепла и уже плоховато читает даже с лупой, это знание сильно выручает ее, можно сказать, спасительно заполняет жизнь смыслом.

– Судьба Евгения хранила:

Сперва мадам за ним ходила,  
Потом мсье ее сменил.  
Ребенок был резов, но мил.  
Мсье Лабе, француз убогой,  
Чтоб не измучилось дитя,  
Учил его всему шутя,  
Не докучал моралью строгой,  
Слегка за шалости бранил  
И в Летний сад гулять водил,

– читала Мария Александровна вслух, и хотя почти не слышала того, что произносит, но ощущала по общей благодати, что читает правильно, ничего не путает. Да, она уже давно заметила целебную силу стихов Пушкина. В них была разлита та самая непостижимая гармония, которая смирляла боль, уносила плохое настроение, даже налаживала ритм сердцебиения. "Зря ученые до сих пор ничего не выяснили по этому поводу, – подумала уже не в первый раз Мария Александровна, – зря, ведь выяснять есть что!"

Смутным, расплывчатым пятном мелькнул в ее памяти Санкт-Петербург с холодным блеском Невы, со шпилями и затейливыми колоннадами зданий, с зеленоватым Таврическим дворцом в далекой перспективе. Она была там с мамой летом 1917 года. Предполагалось, что папу переведут из Черноморского флота в Высшую морскую комиссию в столицу. Вот и приезжали они с мамой осмотреться, нанести визиты родне. Но грянул октябрьский переворот, и папа так и остался на своем месте, остались и они вместе с ним.

Любовь к стихам, к музыке, к русской и украинской народной песне – все это было у нее в крови, было, что называется, родовое.

Раньше любила она петь под рояль, что-нибудь из классики. Особенно хорошо аккомпанировал ей мсье Пиккар.

Бывало, певала она и под гитару в русских компаниях – всегда шумных, всегда веселых, навзрыд бесшабашных и беззащитных ее соотечественников.

Раньше она слышала, что поет, каждую нотку, каждый полутон, каждую долю, а теперь почти уже не различала, и ей было все равно, на каком языке петь – по-русски или по-французски, по-украински или по-итальянски.

– Во Францию два гренадера  
Из русского плена брели,  
И оба душой приуныли,  
Дойдя до немецкой земли.  
Придется им слышать и видеть  
В позоре родную страну...  
И храброе войско разбито,  
И сам император в плену!

– пела она себе под нос и живо представляла, что это бредут по русским снегам Али и его приятель – маленький сморщенный муэдзин, похожий на сухой стручок. Она словно воочию видела, как тяжело бредут они по глубокому снегу, как бьет им в лицо снежная заметь, как уворачиваются они от ветра, замерзшие, жалкие, полуживые. Да, так она представляла. А тем временем Али и его дружок муэдзин сидели в комнате по соседству, сидели как обычно в полуденную жару в спасительной тени полуподвала русской церкви. Как обычно отхлебывали терпкое красное вино и по обыкновению молчали. Они так давно и хорошо знали друг друга,

так много пережили вместе радостей, невзгод и приключений, что это как раз про них было сказано:

"Ты – все понимаешь.  
Я – все понимаю.  
Так зачем же нам говорить?!"

Али и его друг были из одного вилайета<sup>8</sup>, вместе работали мальчишками на раскопках у мсье Пиккара в древней Утике. Это для кого-то Утика, Карфаген – история Древнего мира, а для них – будни. Потом они вместе продались во французский Иностраннный легион и даже вместе участвовали в боях, в самой Франции. Хотя какие это были бои – одна слава.

– Во Францию два гренадера...

Мария Александровна знала и не только любила русскую классику, но, когда была помоложе и при глазах, и при деньгах, выписывала из Парижа русские журналы, газеты. Так что она знала и новейших – Георгия Иванова, Владислава Ходасевича и даже Бориса Поплавского, хотя последний ей совсем не нравился: он был поэт другого ряда, в нем не было той гармонии, к которой она привыкла с детства, а были как бы одни острые бутылочные осколки. Но, что ни говори, душа у него была живая.

А вот знаменитого Сирина<sup>9</sup> она терпеть не могла. Он всегда казался ей искусственным, арифметически вымученным, бездыханным, как муляж из полированной пластмассы. О таких, как Сирин, она всегда думала, что вместо души у них что-то вроде протеза. Внешне это что-то почти настоящее и функции выполняет почти правильно, но нет в нем движения крови по капиллярам, нет теплоты и непрерывного сгорания живого.

Особенно противно было ей сочинение Набокова про то, как взрослый мужчина растлеивает малолетнюю. Сколько в этом сочинении психологических натяжек, как торчат на каждой странице уши автора, который наверняка не имел успеха у женщин, не любил и не понимал их! Все сиринское сочинение – некий слепок уныло натруженного и от этого воспаленного воображения. Этакие записки евнуха на больную тему. Ну и для денег, конечно, на потребу толпе, притом толпе американской.

Как она понимала, для Сирина не было различия между девочкой, девушкой, женщиной, матерью. У него было только одно общее понятие, что все это существа противоположного пола, существа, для него закрытые, хотя – теоретически – вожделенные<sup>10</sup>.

Что касается успеха Сирина у снобов, которые навязали свое мнение о нем обществу, то что тут сказать? Мария Александровна давно уже поняла, что в мире полно дутых авторитетов, не только в литературе, но и в любой другой области... И делают эти авторитеты и водружают их людям на головы именно псевдознатоки и псевдоценители – протезные души, которые всегда агрессивны, всегда уверены в своей правоте, всегда находят общий язык между собой. Они стоят на раздаче того продукта, который принято называть "общественное мнение". Они этот продукт сортируют, очищают от того, что, на их взгляд, "не нужно", развешивают, фасуют, наклеивают ярлыки и уже в таком отредактированном виде навязывают публике как глас Божий. Все эти люди обязательно чем-то ведают: кто каким-нибудь суффиксом, кто префиксом, кто, например, фортепианной музыкой в части "Хорошо темперированного клавира" Иоганна Себастьяна Баха; кто ведает частью символизма, кто – сюрреализма. А некоторые, наиболее хваткие и продвинутые, – даже теми или другими частями того или другого миро-

---

<sup>8</sup> Района, волости.

<sup>9</sup> Речь идет о Владимире Набокове.

<sup>10</sup> Автор считает, что некоторая предвзятость Марии Александровны к творчеству Владимира Набокова, и в особенности к его роману «Лолита», продиктована опытом ее, Марии Александровны, личной жизни в подростковом и юношеском возрасте, обстоятельствами ее судьбы. Но об этом речь еще впереди...

вого классика. Последние говорят о себе с достоинством лордов: "Я всю мою жизнь посвятил творчеству Шекспира!" В смысле – я его потреблял. Подобно тому как прихожане причащаются телом Христа, так и эти уверены, что стали умнее от чужого ума, стали выше ростом от того, что вскарабкались на гору бумаг, написанных великим человеком, и близко даже не помышлявшим, кому он доставляет корм своими писаниями, и как остервенело будут они от него кормиться.

Мария Александровна довольно плотно сталкивалась с этой кастой людей во время своей учебы в Пражском университете.

А за эмигрантской литературой она следила. Как же ей было не следить: ведь русский язык, русская литература – для нее дом родной...

Эмалевый крестик в петлице  
И серой тужурки сукно...  
Какие печальные лица,  
И как это было давно.  
Какие прекрасные лица  
И как безнадежно бледны —  
Наследник, императрица,  
Четыре великих княжны<sup>11</sup>.

Говорят, что поэт написал это стихотворение по открытке с изображением царской семьи. У Марии Александровны она до сих пор сохранилась в бумагах. Чудная открытка!

---

<sup>11</sup> Стихотворение Георгия Иванова.

## V

На расспросы маленькой Сашеньки об отце мать всегда отвечала неохотно, коротко и неясно. Говорила вскользь, что "був вин червоноармииц", что погиб в гражданскую где-то на Юге.

– А он был красивый? – спросила Сашенька лет в двенадцать, когда переменялось ее отношение к мальчикам.

– Та ни, мужик як мужик.

Сашеньке стало обидно за своего «батьку», но виду она не подала. Правда, с тех пор уже никогда не расспрашивала об отце. Между слов, в интонациях маминых ответов Сашенька чувствовала, что разговоры эти почему-то даются маме очень тяжело, что они для нее – нож острый.

Так они и жили. Мать незаметно старилась, Сашенька росла.

Самый большой восторг и самое большое наслаждение Сашенька испытывала не от игр со сверстниками и даже не от книг. Самые счастливые, самые поразительные мгновения в ее детские и отроческие годы были те, когда они с мамой пели украинские народные песни.

Бывало, закроются в своей пристройке с окном в потолке, заберутся с ногами на старый, продавленный диван, который так же, как и домашняя библиотека, достался им однажды с мусорки, обнимутся и поют...

Начинает мама, тихо-тихо:

– Ничь така мисячна,  
Зоряна ясная,  
Видно хучь голки збирай...

Мама затягивает чуть погромче. Голос ее наливается с каждой секундой какой-то полетной, серебристой силой:

– Выйди, кохана,  
Працею зморена,  
Хочь на хвылыночку в гай!

А тут и Сашенька поддержит маму, словно подопрет своим худеньким, острым плечиком, своим еще почти бестембровым альтино, мамино полнозвучное, такое нежное наверху сопрано:

– Сядемо в купоньки  
Тут под калыною,  
И над панами я пан.  
Глянь, моя ридная,  
Глянь, моя милая,  
Стэлется у поли туман...

Поют они широко, на два голоса. Поют, забывая обо всем на свете: о котельной за стеной, хоть в ней что-то и стучает беспрестанно, об их большом московском дворе, с его то и дело хлопающими дверями подъездов, о холодном осеннем дождике, что хлещет в потолочное окно...

А в морозные безоблачные вечера порой скользнет в окошке и месяц ясный, точь-в-точь как в песне.

И мама прижмет Сашеньку к себе, приласкает, и так им хорошо, так славно, и такая щемящая радость от сладкозвучной народной песни, от общего тепла.

– Ты ж нэ лякайся,  
Що ниженьки босыи  
Змочишь в холодну росу.  
Я ж тебе, милая,  
Аж до хатыночки  
Сам на руках донэсу...

Бывало, в такие минуты слезы катились у обеих по щекам от неизбывной нежности и любви друг к другу.

Никакими словами не выразить то чувство единения, то общее захватывающее душу чувство полета, что испытывала тогда Сашенька. Она изо всех сил подражала маме, стараясь научиться петь так, как пела она. А мама в свою очередь поощряла в ней это желание, подбадривала ее, да и показывала, как пускать звук, как управлять им. Если бы музыкально образованный человек (а такие люди жили в их большом доме) подслушал их, то он сразу бы понял, что у дворничихи Нюры довольно редкое по красоте и чистоте звука и притом хорошо, по-настоящему, по-консерваторски поставленное сопрано. Но, слава Богу, никто такой ни разу их не подслушал. А на людях Нюра не пела никогда, так что о ее голосе могли смутно догадываться только кочегары в котельной, но через кирпичную стенку им всегда казалось, что это поют по радио или играет патефон.

## VI

Корабли последней эскадры Российского императорского флота шли в Средиземном море кильватерной колонной, картинно растянувшись от горизонта до горизонта.

В ясный день, особенно на закате, это было необыкновенно красивое и торжественное зрелище. Черные силуэты кораблей, бирюзовое море, закат в полнеба – розовый в середине и бледно-лимонный по краям; белый, иногда вдруг ярко вспыхивающий в последних отблесках заходящего солнца пенный след за кормой.

И кораблей, как в сказке, было тридцать три, но, к сожалению, над каждым из них реяло по два чуждых друг другу флага: на корме – русский Андреевский и на грот-мачте – флаг Французской республики. Франция взяла беглецов под свою опеку и предназначала им путь от Константинополя к своей африканской военно-морской базе Бизерта.

Линейный корабль "Генерал Алексеев", на котором плыла Машенька, был такой огромный, что почти не чувствовалось морской качки.

В тесной корабельной церкви, где люди стояли плечом к плечу, Маша горячо молилась за спасение мамы и сестрицы Сашеньки, молилась за упокой души папаЪ. Господи, как папаЪ помог ей и помогает даже мертвый! И там, в Севастополе, она была спасена его именем, и здесь, в море, она жила его попечением... Да, именно так...

От тепла сгрудившихся тел, от запаха ладана в церковке было душно и томно, и невольно вспоминалась толпа на пристани в Севастополе, и волна страха прокатывалась по всему телу, и хотелось вырваться и бежать, бежать... Куда? Куда бежать в открытом море?..

Толпа такая же страшная стихия, как огонь и вода. Достаточно побывать хоть раз в жизни в гуще многотысячной толпы, колеблемой миллионами мелких разрозненных усилий, достаточно хоть раз ощутить на собственной шкуре всю свою жалкую малость и беспомощность перед конвульсиями гигантской массы – достаточно одного раза, и страх перед толпой останется в тебе до конца дней, он как бы впрессуется в твой позвоночник, войдет в каждую косточку, каждую жилку.

Они потеряли друг друга в толпе.

Они слишком поздно добрались до Севастополя. Дым и гарь застлала город. Четко организованная военными моряками посадка на многие корабли уже закончилась или заканчивалась. Тысячи страждущих, тысячи яростно желающих спастись остались на пристани.казалось, все безнадежно, но мама пошла в штаб эвакуации и еще застала там бывших папиных сослуживцев. Семье погибшего адмирала определили корабль, на который следовало явиться, и дали двух сопровождающих матросов.

По легкомыслию Машенька не запомнила даже название корабля, по этой же причине она умудрилась отстать от мамы и сопровождающих. Она попросту зазевалась. Чуть-чуть отстала, и в ту же минуту кто-то толкнул ее в спину, кто-то в плечо, ее перекрутило, и в поисках мамы и Сашеньки она сама рванулась в противоположную сторону от той, куда они уходили. А дальнейшее толпа уже сделала без нее, совершенно с ней не считаясь.

Наверное, это случилось в полдень. Часа три или четыре толпа мяла и давила в своем чреве пятнадцатилетнюю девочку, насмерть перепуганную, почти обезумевшую от свалившегося на нее несчастья, с картонкой, которую она судорожно прижимала к груди. В этой картонке, среди прочего, было то, что считалось теперь главной из оставшихся в семье реликвий: рукопись истории Черноморского флота, написанная старшим братом Евгением, погибшим в морском бою с немцами в 1914 году.

Наверное, толпа так-таки и задавила бы Машу или выбросила на поругание и погибель назад – в город.

Но случилось чудо. Буквально в нескольких метрах от Маши толпу разрезала команда матросов, и среди них она увидела знакомого ей с младенчества адмирала: матросы, собственно, и прокладывали путь к воде для него.

– Дядя Паша! – крикнула она изо всех сил. – Дядя Паша!

Он услышал, обернулся на голос, но ее различить не смог. Поискал глазами, не нашел и сделал движение, чтобы продолжить свой путь. И тогда она с отчаянием выкрикнула:

– Это я, папина дочка!

Лицо его осветилось нечаянной улыбкой, он узнал, он увидел ее и приказал матросам – они выдрали ее из толпы и сомкнули свои ряды.

Папиной дочкой звал ее всегда дядя Паша, когда гостил у них в Николаеве. Он считал, что Маша – вся в папу. И поэтому, как увидит ее, всегда бывало делает ей "козу".

"А-а, папина дочка! Сейчас я тебя пощечочу! А-а, папина дочка!" И они с визгом и хохотом бегали друг за дружкой по дому или по саду. Хороший у них был сад при доме, тенистый, старый.

Так она была спасена.

Адмирал дядя Павел был, если не считать главнокомандующего, генерала Врангеля, вторым человеком в армаде, отправляющейся из Севастополя. Он был так называемым младшим флагманом.

Корабль, на который довезла их большая шлюпка, стоял в Северной бухте. Заканчивались последние приготовления к отплытию. Корабль был перегружен людьми, скарбом, коровами, лошадьми, козами, были даже куры во множестве вольеров – словом, настоящий Ноев ковчег. Ничего этого Маша не заметила, она сразу рухнула в постель, не соображая, где она и что с ней.

Маша спала очень долго, ей ничего не снилось. Когда она проснулась на следующий день, корабль уже плыл в открытом море.

Конечно, ей повезло сказочно. Она была принята в семье дяди Павла как родная. Все жалели ее, все старались сказать что-нибудь ободряющее. Четырнадцатилетний сын дяди Павла гардемарин Севастопольского кадетского корпуса Коля водил ее по кораблю, знакомил с такими же, как он, гардемаринами, с их сестрами, с дамами Корпуса, которые все были очень милы и находили Машеньку красавицей.

На юте они с Колей наткнулись на огромную кучу книг. Под ногами валялись собрания сочинений Пушкина, Лермонтова, Чехова, Достоевского, Льва Толстого, сотни других превосходных русских книг.

– Так нельзя! – вскрикнула Маша. – А ну-ка давай складывать! – И они с Колей начали прибирать книги. Вскоре к ним присоединились гардемаринны из Морского корпуса и девушки из офицерских семей. Через два-три часа огромная библиотека была разобрана и аккуратнейшим образом уложена под большим брезентовым тентом.

Дядя Павел давал радиogramмы на другие корабли и пароходы в поисках мамы и Сашеньки.

Скученность на огромном судне была невероятная. Дамы готовили на примусах прямо под сенью корабельных пушек. Большинство спало вповалку на чемоданах, баулах, сундучках – кто где приткнется. То и дело какой-нибудь бедолага проваливался в очередной незадраенный люк или стучался лбом о какую-нибудь бронированную загогулину, которых было наткано по всему линкору в избытке – сверху до низу.

Что тут сравнивать? Если сказать, что Маша была устроена лучше большинства, то и того будет мало. Она плыла по синю морю, как принцесса. У нее была не просто чистая постель в адмиральской каюте, в кругу семьи дяди Павла, но даже китайская ширма: на всю жизнь остались стоять перед глазами роскошные павлины с этой ширмы, их многоцветные хвосты, набранные из перламутра самых причудливых оттенков.

Каждый день она без устали молилась в постоянно набитой людьми корабельной церквушке. Молилась очень искренне, горячо, но ни на секунду не забывала о том, что сама она – спасена! Спасена! Спасена!

Когда Машенька ловила в себе этот ликующий зуд, ей становилось стыдно до слез, ком вставал в горле. Но она ничего не могла с собой поделать: все ее юное существо трепетало от беспричинной радости и неукротимого желания: жить, жить, жить!

– Прости меня, Господи, подлую, – шептала Маша, всхлипывая, – прости меня, Господи!

Даже опытные и бесстрашные моряки считали, что армада перегруженных кораблей дошла до Босфора милостью Божьей. Во время шторма в открытом море погиб единственный корабль, эскадренный миноносец «Живой». Что-то не сошлось на небесах, не суждено ему было оправдать свое имя.

В Константинополе произошло реформирование армии и флота.

Был первый приказ главнокомандующего вне Родины.

### "ПРИКАЗ № 187

Тяжелая обстановка, сложившаяся в конце октября для русской армии, вынудила меня решить вопрос об эвакуации из Крыма, дабы не довести до гибели истекавшие кровью войска в неравной борьбе с наседавшим врагом...

Трудность задачи, возлагавшейся на флот, усугублялась возможностью осенней погоды и тем обстоятельством, что, несмотря на мои предупреждения о предстоящих лишениях и тяжелом будущем, около полутора тысяч русских людей – воинов, рядовых граждан, женщин и детей – не пожелали подчиниться насилию и неправде, предпочтя исход в неизвестность. Самоотверженная работа флота обеспечила каждому возможность исполнения принятого им решения. Было мобилизовано все, что могло не только двигаться по морю, но даже лишь держаться на нем.

Стройно и в порядке, прикрываемые боевой частью флота, ото-рвались один за другим от Русской земли перегруженные пароходы и суда, кто самостоятельно, кто на буксире, направляясь к дальним берегам Царьграда.

И вот перед нами невиданное в истории человечества зрелище: на рейде Босфора сосредоточилось свыше сотни российских вымпелов, вывезших многие сотни российских патриотов, коих готовилась уже залить красная лавина своим смертоносным огнем.

Спасены тысячи людей, кои вновь объединены горячим стремлением выйти на новый смертный бой с насильниками земли Русской. Великое дело это выполнено Российским флотом под доблестным водительством контр-адмирала Кедрова.

Прошу принять ваше превосходительство и всех чиновников военного флота, от старшего до самого младшего, мою сердечную благодарность за самоотверженную работу, коей еще раз поддержана доблесть и слава российского Андреевского флага.

От души благодарю также всех служащих коммерческого флота, способствовавших своим трудом и энергией благополучному завершению всей операции по эвакуации армии и населения из Крыма.

*Генерал Врангель. 8 ноября 1920 года".*

Армия и большинство гражданских лиц остались в Константинополе, военным кораблям и их командам надлежало продолжить свой путь до берегов Африки. Накануне отплытия русской эскадры был еще один, прощальный приказ главнокомандующего.

### "ПРИКАЗ № 197

Славный Черноморский флот!

После трехлетней доблестной борьбы русская армия и флот вынуждены оставить родную землю. Наша союзная Франция оказала нам свое гостеприимство. Флот уходит в Бизерту – Северное побережье Африки. Армия располагается в окрестностях Царьграда. Русские солдаты и моряки, боровшиеся вместе за счастье Родины, временно разлучены. Провожая вас, орлы русского флота, шлю вам мой сердечный привет. Твердо верю, что красный туман, заставший нашу Родину, рассеется, и Господь сподобит нас послужить еще матушке-России.

Русский орел расправит свои могучие крылья, и взвоет над русскими моряками бессмертный Андреевский флаг.

*Генерал Врангель. 7 декабря 1920 года".*

Впереди были две недели морского перехода, и у многих – целая жизнь. С момента отплытия эскадры в Бизерту все перешли со старого на новый стиль времени.

## VII

После гнета обычной общеобразовательной школы в медицинской школе, куда отдала ее мама, Сашеньке жилось вольготно.

Во-первых, очень пришелся ко двору ее украинский язык. Во-вторых, никто не дразнил ее Галушкой. В медицинской школе было много парней и девушек с украинскими фамилиями, гораздо более веселыми, чем ее. Например: Перебийнос, Макитра, Нетудырчка, Сорока, Крыса, Ворона, Чмурило, Штучка, Дурняк. Как правило, это были дети наехавших в Москву с Украины на работу по временному найму плотников, каменщиков, разнорабочих. Наверное, они оказались именно в этой медицинской школе потому, что главный бухгалтер больницы, при которой содержалась школа, был их земляк.

К тому же Сашенька быстро превращалась из гадкого утенка с распухшим носом в рослую, крепкую и довольно красивую девочку. Характер у нее был твердый, и это сразу чувствовал любой сверстник, но в то же время она не заносилась, никогда никого не пыталась унижить. Одним словом, в новой школе жилось ей хорошо, тем более что учеба не просто нравилась ей, а буквально захватила всю ее целиком: у нее появилась цель жизни, она хотела стать врачом, желательно хирургом.

А тут еще работало на ее авторитет, шло ей на пользу увлечение акробатикой. В новой школе была очень хорошая секция спортивной акробатики. Всего за полтора года занятий Сашенька так сильно продвинулась на этом поприще, что ее отобрали для участия в майском параде 1937 года на Красной площади.

На всю жизнь запомнила она то ни с чем не сравнимое чувство упоительного торжества, опасности, гибельной радости и уверенности в себе, чувство некой надмирности, что испытала тогда на прославленной в веках брусчатке.

Сначала они шли за убранный бумажными цветами широкой платформой на грузовике. Шли в белых футболках, белых трусиках, белых тапочках. Было адски холодно: руки и ноги покрылись пупырышками гусиной кожи, губы посинели, зуб не попадал на зуб. А как только подошли к Историческому музею, мигом вскарабкались на платформу и так въехали на Красную площадь. И все как рукой сняло, всякий холод, все вытеснили ответственность и то ликование, та слитность единого напряжения, что отличает толпу от колонны, выполняющей свой маневр.

Тогда в моде были пирамиды из живых людей. И Сашенька участвовала в одной из таких пирамид. Она стояла на руках на самом ее верху и, конечно, не видела ни кремлевских звезд, ни вождей на Мавзолее. Она видела только кисти своих дрожащих от напряжения рук, только белую массу своей пирамиды, только краешек платформы грузовика, что их вез. К счастью, все обошлось лучшим образом, и они выкатились на Васильевский спуск без происшествий.

За этот физкультурный парад Сашеньку наградили Почетной грамотой ВЦИК, что сразу подняло ее в медицинской школе на недосыгаемую высоту и во многом определило дальнейшую судьбу, во всяком случае, явилось в ее дальнейшей жизни серьезным подспорьем.

Боже мой, до чего прав был Александр Сергеевич Пушкин, когда писал в "Пире во время чумы":

Есть упоение в бою,  
И бездны мрачной на краю,  
И в разъяренном океане,  
Средь грозных волн и бурной тьмы,  
И в аравийском урагане.  
И в дуновении Чумы!

Очень похожее чувство испытала Сашенька через семь лет во время штурма Севастополя, в Северной бухте...

А в медицинской школе вела занятия по акробатике бывшая артистка из знаменитой в России цирковой семьи. Кстати сказать, из-за этой своей дореволюционной «бывшести» она за тот достопамятный парад на Красной площади, в отличие от своей ученицы Сашеньки, ничего не получила, хотя потратила на его подготовку уйму своих сил, умения, времени.

Уже совсем недавно, году примерно в 1996-м, Сашенька, вернее Александра Александровна, прочла в мемуарной книге великого русского балетмейстера Игоря Александровича Моисеева, что руководил тем физкультурным парадом и режиссировал его от «а» до «я» лично маэстро, тогда еще тридцатилетний, но уже признанный, уже возглавивший свой ансамбль народного танца.

А Сашенькиного тренера по акробатике звали Матильда Ивановна. В свои пятьдесят она еще запросто садилась на шпагат, ходила по канату, крутила сальто – и с разбега, и даже с места – назад, прогнувшись. Это был ее коронный номер – она и Сашеньку выдрессировала с этим сальто до полного автоматизма. То есть Матильда Ивановна, обучая, могла не только рассказать, но и показать, как это делается! У нее все еще были прекрасная фигура, хороший цвет лица, ровные белые зубы, притом все свои, густые русые волосы, яркие голубые глаза, наполненные светом желаний. Одним словом, человек она была незаурядный. Однако и среди персонала больницы, и в школе она была знаменита не своим артистическим прошлым, не тем, что не по годам молодо и броско выглядела, не тем, что была замечательным тренером, а только тем, что у нее был муж по кличке "Вова-полторы жены".

Вова был на пятнадцать лет моложе Матильды Ивановны, хотя выглядел старше ее. Он был невелик ростом, сухощав, картавил, а сказать правду – не выговаривал половину букв русского алфавита. К тому же к своим тридцати пяти годам был он уже совершенно лыс – как бильярдный шар. Зубы у него были длинные и почти все металлические, тускло отсвечивающие.

Отдельного разговора заслуживали его глаза. Его левый глаз, очень красивый, если рассматривать обособленно: синий-синий, большой, с удивительно чистым белым белком, сиял, как драгоценный камень, и время от времени дергался, подмигивая своему собрату – правому глазу. А правый глаз был у Вовы совсем нехорош: какой-то серо-желтый и маленький, притом всегда слезящийся. Удивительно, но и левым, и правым глазом Вова видел не на сто, а на двести процентов каждым. Зоркость его была непостижима – больничные глазные врачи демонстрировали Вову как явление природы. Он видел так, как по медицинским меркам человек видеть не может, не должен, во всяком случае. Не то что обычную кабинетную таблицу глазников он читал, а, например, читал с семи шагов мелкий шрифт в газете, каждую букву мог назвать.

Мягко говоря, Вова был некрасив. Но ему было наплевать и на лысину, и на разноглазие, и на вставные зубы, и на общую неказистость фигуры. Вова чувствовал себя в подлунном мире кум королю и сват министру. Вова ценил себя необыкновенно и не сомневался в своей неотразимости. Он был из той породы, что умеют "себя поставить". Без тени стеснения Вова мог пристать к любой красотке, любого достатка и любой степени образованности. И, как ни странно, довольно часто находил отклик. Если верить в народную мудрость, что любовь начинается глазами<sup>12</sup>, то, значит, было в разноглазии Вовы и в его наглости нечто магическое, некая чертовщина, которая всегда привлекает женщин.

Может быть, кто-то когда-то его подучил, а может, Вова допер своим умом прирожденного знатока дамской психологии, но всегда и ко всем женщинам неукоснительно он применял один и тот же прием. При каждом новом знакомстве, да и вообще при любом разговоре

---

<sup>12</sup> "Любовь начинается с глаз. Глазами влюбляются". Владимир Даль. Пословицы русского народа.

с женщиной или девушкой, он безошибочно находил то, чего она могла стесняться, что, на ее взгляд, было недостаточно хорошо в ней самой, в ее одежде, обуви, находил слабое место. А найдя это место, он буквально вперял в него свой прекрасный синий глаз и сверлил, сверлил взглядом эту избранную им точку. Действовало безотказно. Женщина чувствовала, что он нашел ее ушибинку, и сразу же в ней поубавлялось гордыни, и сразу она как-то начинала нервничать и из-за этого нервничания как бы начинала понимать, что и Вова не так уж плох, коль она сама не без изъяна.

Вова водил одну из трех больничных полуторок и страшно гордился своей профессией.

– Баранку крутить – это вам не быкам хвосты заворачивать! – любил выступить Вова перед парнями из медицинской школы, большинство из которых были деревенские.

Помимо Матильды Ивановны у Вовы была еще одна гражданская жена – двадцатипятилетняя медсестра отделения ухо-горло-носа Катя, очень красивая и работающая женщина. Собственно, отсюда и зародилось Вовино прозвище "Полторы жены". Однажды факт его двоеженства взяли обсуждать на профсоюзном собрании. И дело шло к тому, чтобы заклеить Вову и, возможно, даже выгнать с работы. Тут-то и выступил сам Вова.

– Откуда у меня могут быть две жены при такой зарплате? – кричал он.

– Нет у меня две жены. Две я не тяну. Полторы – да. Каждая по ноль семьдесят пять – да! Все заржали. Вову простили, но кличка "Полторы жены" прилипла к нему навсегда.

Сашенька на всю жизнь запомнила и Вову-полторы жены, и Матильду Ивановну, потому что на их примере она сделала для себя два очень важных житейских вывода.

Первый вывод – о несправедливости молвы: если уж молва прилепит, что ты жена "Вовы-полторы жены", то это уже ничем не перебьешь, никакими другими достоинствами и заслугами.

Второй вывод: очень важно для жизни умение "подать себя", как умел подать Вова. Очень важно уважать себя беззаветно, предлагать себя безоговорочно, тогда многие взглянут на тебя по-другому, и простят тебе многое, и примут тебя.

Эти выводы Сашенька не сформулировала, но они вошли в ее сознание со всей определенностью и остались как постулаты на всю жизнь.

В самом начале 1945 года Сашенька неожиданно встретила Вову-полторы жены на фронте. Он ничуть не изменился, был так же словоохотлив, шепеляв, бодр, и его хороший синий глаз сиял весельем и отвагой. Он пришел в восторг от того, что Сашенька его узнала.

– Ой, спасибо! Ой, спасибочки! Ну какая вы у нас красатуля стали, товарищ военврач! – шепелявил Вова, не забывая оглядывать, ощупывать ее своим красивым глазом с головы до ног и при этом как бы произвольно стучать себя по впалой груди, на которой позвякивали медали.

Но что были его медали против двух ее орденов: Красной Звезды и Боевого Красного Знамени.

– Ой, товарищ военврач...

– Военфельдшер, – строго поправила его Сашенька, – не надо мне лишнего, товарищ младший сержант.

– Вот вы меня узнали, а я тебя так и не припомню, – стараясь взять свое, вывернулся Вова. – Ой, какие у нас ордена! – И он протянул руку к ее груди. – Извини, что не вспомню, медшкола-то была большая. – По красивому синему глазу Вовы было видно, что он лукавит, что он просто осаживает Сашеньку.

– Руку убери, – тихо, но очень выразительно попросила Сашенька. – Вот так будет лучше. Помнишь, когда ты обидел Матильду Ивановну, я дала тебе по морде?

– Ой, помню! – обрадовался Вова. – Еще бы не помнить! А Мотька умерла, – добавил он вдруг и криво, без подготовки, заплакал, и настоящие слезы покатались из обоих его глаз, и

из красивого синего и из плохонького серо-желтого. – На тренировке сломалась старая дура. Два года лежала. Мы с Катей ее выхаживали.

Тут из укрытия вышел генерал, которого возил Вова.

– Не поминай лихом! – все-таки потрепал ее по щеке неумный Вова и побежал к своему "виллису".

После войны Сашенька вернулась работать в родную больницу и встретила там младшую Вовину жену Катю.

– А Вову убило, – сказала Катя, – восьмого января сорок пятого года.

– Неужели восьмого? – вскрикнула Сашенька. – Мы с ним встречались на Одере восьмого, это я точно помню, меня в этот день ранило.

– Ну вот, а его убило, – сказала красивая Катя. – Хороший был человек...

## VIII

В той заветной картонке, что вывезла Мария Александровна когда-то из горящего Севастополя, помимо рукописи брата Евгения были еще семейные фотографии и ее маленький дневничок.

В те времена, когда она возростала, во многих имущих семьях России было принято вести дневник. Вел дневник сам Государь, вели дневники великие князья, княгини, княжны. Это все знали. Все старались не отставать. Фиксировать события своей жизни и по мере возможности осмысливать их считалось хорошим тоном. Но если копнуть поглубже, то дело было не столько в моде, сколько в общей налаженности их жизни, а проще говоря, дело было в том, что сытому и досужему, не угнетенному ежедневной заботой о куске хлеба, такому всегда лучше и глубже думается, если, конечно, Бог умом не обидел.

По этому поводу мсье Пикар любил повторять слова Марка Аврелия: "Старайтесь иметь досуг, чтобы в голову пришло что-нибудь хорошее".

В день окончания первого класса гимназии Машенька попросила маму подарить ей книжечку для дневника. И мама тотчас исполнила ее просьбу. Книжечка была очень изящная: небольшого формата, с темно-бордовым сафьяновым корешком, который так вкусно пах кожей, с переплетом, затянутым в дымно-розовый муар, с толстыми матово-белыми, торжественно чистыми страницами.

Мама подарила ей дневник как раз накануне их отъезда из Николаева на летние каникулы к любимой тетушке Полине во Владимирскую губернию. В первый и последний раз в жизни они поехали на отдых всей семьей: папа, мама и она, Мария. Еще с ними поехал папин денщик Сидор Галушко.

Там, у тетушки Полины, она и сделала свою первую запись в изящной книжечке, на сафьяновом корешке которой было оттиснуто золотом: «Заветное». Важное слово. Дневник как бы предполагал только одного читателя – его владельца, предполагал наличие тайны, во всяком случае, ее возможность.

Чернила в те времена делали очень стойкие, да и бумага в дневнике, видимо, не случайно впитывала их достаточно глубоко, так, что и теперь, через столько лет, первая запись цела и невредима:

"Мы есдили церков Покрова на Нери. Было хорошо. Мама, тетя Поля, Папа, дядя Костя пели песни на гитари. Вода в речки теплая. Луга и каровы очен красивыя".

Иногда Мария Александровна берет лупу и читает эту первую запись – так, чтоб всколыхнуть душу, почувствовать, что душа еще живая.

Жизнь удивительно расставляет все и всех. Всему дает свое место, время и свой смысл, увы, заранее нам неизвестный. Разве могла, например, она вообразить, что будет доживать свой долгий век где-то в Африке? В полуподвале русской православной церкви, очень похожей на знаменитую в России церковь Покрова-на-Нерли. Что тут сказать?

Хотя все это и странно, конечно, но...

То, что в полуподвале, – это ведь очень хорошо: светло, чисто, прохладно.

То, что в Африке, тоже не грех. Не зря Александр Сергеевич Пушкин писал:

Пора покинуть скучный брег  
Мне неприязненной стихии,  
И средь полуденных зыбей,  
Под небом Африки моей  
Вздыхать о сумрачной России...

Да, ему не пришлось о ней вздыхать, а им пришлось вволю.

Как он угадал эти африканские "полуденные зыби"? Непостижимо. Гений, он и в Африке гений, и даже в России...

А то, что доживает она свой век в церковке, похожей на церковь Покрова-на-Нерли, – это вообще замечательно, чудно!

Кстати сказать, она всегда помнит, что построил ее тот самый рыженький гардемарин Тузенбах, с которым в овраге форта Сфаят она играла в "Трех сестрах" Чехова. Он – барона Тузенбаха, она – Ирину. А вот как его настоящее имя и фамилия, она никогда не помнила: Тузенбах и Тузенбах... Рыженький на нее не обижался – он был влюблен в нее по уши. Да разве он один?! Весь корпус гардемаринов был тогда у ее ног... Рыженький, кажется, владимирский, скорей всего... Ведь говорят, что при постройке в Тунизии своей церкви он ни в чем не ошибся, ни на йоту.

А в настоящей церкви Покрова-на-Нерли милостью Божьей Мария Александровна побывала в том далеком и достопамятном 1913 году, когда гостила в имении тетушки Полины.

Тетушка была всего на два года старше мамы, так что они дружили, как две ровесницы, а не только как родные сестры.

Муж тетушки Полины, дядя Костя, был бригадный генерал. Так что и мужчины дружили на равных: папа – адмирал, дядя – генерал. Как свояки, как ровесники и люди одного круга они с удовольствием встречались, были искренне рады своим редким встречам. Они любили играть между собой в шахматы. Играли всерьез, с азартом, незлобиво подшучивали друг над другом. Много курили свои пенковые трубки так, что около них на открытой в сад веранде клубилось целое облако ароматного, слоившегося в воздухе дыма. Играя, они всегда много смеялись, всегда подначивали друг дружку. Как маленькие, хвастались перед всеми, даже перед девочками, своими шахматными победами.

– Это тебе, Саша, не кораблики пускать, – говаривал обычно муж тети Поли.

– Конечно, Костенька, куда нам до кавалерии! – отвечал папа. – Ты ведь все время с лошадьми, а у них головы бо-ольшие.

Да, были времена! Какая благодать! Какая прелесть сквозила во всем – казалось, благоденствие будет вечным. Казалось, папа и дядя Костя такие могучие, что одни защитят всё и всех, безо всякой армии и флота. Да, так казалось. И это чувство незыблемости окружающего мира, чувство полной защищенности Мария Александровна помнит до сих пор.

У тетушки Полины были две девочки-погодки – Настя и Лиза, одиннадцати и двенадцати лет. Так что с кузинами Машеньке повезло, с кузинами было раздолье! Ах, как славно они играли! Как залиvisto визжали в саду, гоняясь друг за дружкой!

В один прекрасный день тетушка Полина сказала:

– Через три дня Троица. Решено: на Троицу будет пикник. Едем на Нерль. С купанием. С рыбалкой. С гитарой!

Девочки стали ждать и готовиться: были проверены сачки для бабочек, купальные костюмы, мячики и многое, многое другое, без чего, на их взгляд, обойтись было никак нельзя, например, кукол со всем их гардеробом.

Ждали истово. Но вот и пришел Духов день. Детей подняли с кроваток, поставили на ноги, умыли и без завтрака выставили на крыльцо барского дома.

Перед рассветом бушевала мощная июньская гроза. Еще и теперь дул сильный верховой ветер, так что верхушки высоких тонких берез выгибались так сильно и молодые зеленые листья на них лепетали под ветром так громко, что говорить приходилось в полный голос. Мелкие нежные листья на белостволых березах, свежесть отшумевшего ливня, мокрые дорожки сада – все было так чисто, так ярко, так празднично! А по голубому высокому небу летели большие кучевые облака – темно-серые внутри и совсем белые, легкие по краям.

Тетушка Полина была большая затейница, ничего не могла она сделать буднично, во всем умела найти что-то новенькое, везде изобретала что-нибудь замысловатое и по возможности праздничное.

– Уныние, господа, тяжкий грех! – любила повторять тетушка Полина. – Никогда не поддавайтесь унынию!

Взрослым она тоже не разрешила завтракать:

– Все едем без завтрака. Завтракать будем на берегу реки, наголодавшись. Завтрак надо выстрадать!

Ах, как она была права, тетушка Полина, как права! Что только не позабыто, какие чудеса и страсти! А вкус того хлеба у чистой русской речки, его незабываемую духмяность, его неземную сладость помнит Мария Александровна до сих пор.

Ехали туда на двух легких подрессоренных линейках на резиновых шинах с лакированными крыльями. На первой ехали господа и правил сам дядя Костя. Эта линейка была запряжена парой серых в яблоках орловских рысаков. На второй линейке ехали слуги: повар, денщик генерала и денщик адмирала – старшина первой статьи Сидор Галушко. Лошади тут были гнедые и не такие породистые, как на первой, хотя тоже не простушки, тоже орловские рысаки. Эта линейка была вся завалена коврами, подушками, набитыми конским волосом, провиантом и прочим необходимым на пикнике, вплоть до березовых поленьев для костра.

Ехали долго. Среди зеленых полей, среди росных лугов, искрящихся под нежным утренним солнцем, благоухающих разнотравьем и разноцветьем, то желтым, то синим, то белым, то нежно-розовым, то лиловым.

Очень похожую, но в сто крат более яркую и контрастную, жесткую по цвету картину видела Мария Александровна потом в пустыне, куда возил ее мсье Пиккар специально посмотреть, как цветет Сахара в отведенные ей для этого Богом несколько дней.

Дорога, хорошо накатанная в лугах, лоснилась после дождя, и вкусно пахло прибитой пылью. Рысаки весело мотали хвостами, бежали в охотку, радостно. Дядя Костя весело хлопал вожжами по их гладким, разгоряченным, чуть дымящимся крупам. Дядя Костя гордился своими лошадьми. Он даже был какой-то ученый чин по лошадиной части, писал статьи в специальные журналы, был награжден как коневод почетными грамотами и, кажется, даже медалью на Всероссийской выставке за «вклад». Он вообще был человек замечательный и знал и умел очень многое. Притом если чем-то увлекался, то осваивал это свое увлечение на самом высшем уровне, можно сказать без преувеличения, добивался таких успехов, что его знали специалисты по всей России не как генерала, а как коневода, как фотографа (тут он тоже, как говорится, собаку съел), как специалиста по орденам и прочим наградам, так называемого фалериста, – одного из крупнейших в России и Европе. Словом, человек он был весьма неординарный, да и генерал, как выяснилось потом, на войне, очень неплохой.

Сразу, как проехали село Боголюбово, глазам предстала незабываемая картина. Над зелеными полями, над рассеченными проблесками речки и окутанными легчайшим цветным туманом лугами плыла белая, с зеленым шатровым куполом церквушка. То ли плыла, то ли повисла между небом и землей.

– Господи! – вскрикнула мама и широко перекрестилась. И все перекрестились вслед за ней с радостью, с каким-то удивительно духоподъемным, чистым восторгом.

Остановились у самой речки, на низком левом берегу, на том, где была церковь Покрова-на-Нерли.

– Боже мой, как же они могли извять такую красоту семьсот пятьдесят лет тому назад! – воскликнула мама. – Смотри, Маруся, смотри и запоминай это наше русское чудо! И никогда не верь тем, кто скажет, что мы, русские, темный и грубый народ!

Мама звала ее Марусей в те минуты, когда настроение у нее случалось особенно хорошее, когда она бывала на подъеме.

Ветер давно уже разогнал все тучи, небо очистилось, налилось голубишной ясного утра, еще косые лучи солнца излучали ласковое, нежное тепло.

Вода в речке Нерль оказалась совсем прозрачная, а берега песчаные и песок мелкий, прелестный. На другом берегу, который был чуть выше, паслись ухоженные пятнистые коровы.

Прислуга быстро распрягла лошадей, стреножила и принялась готовить лагерь к пикнику.

Первым делом дети позавтракали – тем, незабываемым, хлебом и пахучим сладким молоком из белых эмалированных кружек.

Потом девочки плели венки из полевых цветов для себя и для всех взрослых. У Марии Александровны сохранилась фотография: мама, папа, тетя Полина, дядя Костя, Настя, Лиза и она, Маша, сидят на ковре, расстеленном у палатки, – и все в венках. Фотографировали аппаратом дяди Кости – на треногом штативе, с поджиганием магния в момент съемки. Замечательная получилась фотография – все лица как живые, а на дальнем плане белокаменная церквушка.

Чудом Мария Александровна пронесла эту фотографию через все свои скитания и могла любоваться ею до сих пор. Жаль только Сашеньки не было на этом фото, да и не могло быть. До рождения Сашеньки еще оставалось почти семь лет. Раньше, рассматривая эту семейную фотографию, Мария Александровна никогда не задумывалась о Сашеньке. А сейчас ясно видит, что в левом углу, возле мамы, как нарочно большая прогалина, много свободного места, как раз для будущей младшей сестрицы. В последние годы Мария Александровна очень часто думает о своей младшей сестре, и в сердце ее давно поселилась уверенность: "Жива Сашенька. До сих пор жива-здора. Да разве найдешь..."

После фотографирования девочки купались в речке: с визгом, хохотом, с обрызгиванием друг дружки, с ловлей руками мальков на прозрачном мелководье. Правда, ни одного малька им так и не удалось поймать, как ни старались.

Взрослые почему-то купаться не стали.

Мужчины, облокотившись о длинные цветные подушки, набитые конским волосом, принялись играть в свои любимые шахматы.

Мама и тетя Полина все о чем-то шептались и время от времени прыскали как маленькие.

И оглянуться не успели, ударили к обедне колокола в знаменитой церкви: негромко, звонко, чисто.

Все оделись и чинно пошли в церковь. И у входа, под белокаменным порталом, и внутри по обычаю было разбросано много сорванной руками травы и полевых цветов, сладко пахло травяным соком, увядающими цветами.

Внутри церкви было немногочисленно, полутемно, прохладно, свято.

Батюшка служил, все молились.

Машенька случайно перехватила взгляд папиного денщика Сидора Галушко. Точнее сказать, не перехватила, а увидела, как смотрит он на молящуюся маму. Маша была еще малышка, но она почувствовала, что денщик Сидор смотрит на маму неправильно, что если бы его взгляд заметил папа, то ему бы это очень не понравилось. Очень!

После молебна играли в мяч. Жарили мясо на углях, на решетке. Взрослые пили вино, кроме прислуги, конечно.

## IX

Сашеньке шел девятнадцатый год. Природа брала свое: Сашенька хорошела день ото дня, наливалась нежной девичьей статью.

Природа природой, но не без участия тренера по акробатике Матильды Ивановны Сашенька выросла стройной, крепкой, с гибкой и тонкой талией, с сильными руками и ногами, притом на вид совсем не мускулистыми, а вполне женственными, обыкновенными. Матильда Ивановна знала такие секреты и тонкости упражнений и массажа, которые были недоступны и непонятны обычному спортивному тренеру. Она умела придать юному телу силу и ловкость, не отнимая при этом естественной красоты и гармонии. Такой подход к делу был очень важен для династических цирковых артисток, Матильда Ивановна усвоила его с малого детства. И то, что вложила в нее и передала ей когда-то ее мать – воздушная гимнастка, теперь она передала своей любимой ученице Сашеньке.

Матильда Ивановна научила ее ходить: с поднятой головой, с развернутыми плечами и вместе с тем непринужденно, без малейшей натуги, что называется, грациозно.

– Ходи хорошо – и ты уже красавица! – учила Матильда Ивановна. – Как говорили наши цирковые: на свете нет некрасивых женщин, а есть только женщины с плохой кожей и плохой походкой. Кожей тебя Бог не обидел, а будет походка – будет все!

Сашенька ощущала свою общую ловкость, цепкость, свою, хотя и небольшую, но необыкновенно резкую, мгновенно выстреливающую силу. К тому же она была вынослива от природы и неприхотлива.

Она была предельно скромна, доброжелательна, неразговорчива. У нее сложились ровные и, в общем-то, далекие отношения и с педагогами, и с соучениками. Она никогда не показывала виду, что по своей начитанности, знаниям, по своим ощущениям жизни превосходила многих из них на голову. Водилась со всеми, никем не пренебрегала, но и никого не подпускала к себе близко. В щекотливых случаях она инстинктивно переходила на украинскую мову, что сразу ступенью выводило ее превосходство над собеседницей или собеседником.

Исключением являлась лишь Матильда Ивановна. Но дружбу с ней все почему-то охотно прощали Сашеньке. Наверное, потому, что для всех и в медицинской школе, и в больнице Матильда Ивановна была кем-то вроде городского сумасшедшего. Такое отношение к ней сложилось, видимо, из-за ее мужа, из-за того, что ей ничего не стоило спуститься на руках с четвертого этажа, из-за того, что она садилась на шпагат, вместо «здравствуйте» говорила «бонжур», вскрикивала: "Але-гоп!", "О-ля-ля!" и прочее... Как снисходительно заклемили ее больничные фефелы: "Артистка – че с нее взять?"

Медицинская школа, которую заканчивала Сашенька, в свое время была слеплена из двух старорежимных заведений: мужской школы ротных фельдшеров и женской школы повивальных бабок второго разряда. Теперь, при новой власти, школа соответственно выпускала фельдшеров и медицинских сестер. На медсестру или медбрата учились два года, на фельдшера – четыре.

Сашенька училась четвертый год, впереди были выпускные экзамены и, наконец, горячо желанная работа.

А мама тем временем трудилась все эти годы в посудомойке при больничной кухне.

Строители промахнулись, сделали кухню слишком маленькой, так что посудомойку пришлось пристраивать сбоку, и она вклинилась в больничный парк под сень двух вековых дубов. И сам по себе здесь образовался тихий, приятный уголок. Как говорила мама: "Затишок".

Здесь, в «затишке», при больничных обедах под присмотром мамы процветало целое братство: огромный, серо-плюшевый, старый, хромою волкодав Хлопчик, ежик по кличке Малой, четыре кошки – Муся, Туся, Марыся и Панночка. Интересно, что кошки были как бы

в некотором роде амазонками. Они не пускали каких бы то ни было котов на свою территорию, драли их сообща и гнали за больничный забор. Пес Хлопчик горячо поддерживал их в этом правом деле. При виде котов он просто молодец на десять лет и из гладко-плюшевого становился лохматым; преодолевая свою хромоту, он кидался на котов с такой устрашающей яростью, что те скоро перестали посягать на «затишок» без крайней необходимости. А когда эта крайняя необходимость наконец неотвратимо приближалась, все четыре кошки уходили на свидания подальше от родного приюта и уводили за собой любовно мяукающих претендентов на родственную связь.

Когда кошкам приходила пора приносить котят и потом, когда те чуть подрастали, вокруг посудомойки начиналось энергичное движение всего персонала огромной больницы. Котят заранее заказывали: кто – от серой Туси, кто – от черной Муси, кто – от рыжей Марыси, кто – от белой Панночки. Котят придирчиво осматривали, насчет них спорили и даже вздорили, но в конце концов всегда разбирали всех до единого. Хлопчик в такие времена чувствовал себя очень важным персонажем и как бы следил за порядком.

Здесь, в «затишке», при очередной раздаче котят и увидела его Сашенька в первый раз в жизни.

Он пришел за заранее заказанным котенком от беленькой Панночки. Пришел не один, а с двумя девочками-погодками лет пяти-шести. Девочки показались Сашеньке очень милыми: черноглазые, чуть косенькие, черноволосые, с большими белыми бантами в косичках.

– Папа! Папочка! – кричали девочки наперебой. – Дай нам его хоть поцеловать! Поцеловать!

Котенок был еще слепенький, серенький, с белой звездочкой во лбу. Котенок показался Саше замечательным. Она вдруг пожелала себе такого же для своей будущей дочки. Она уже давно была уверена, что, когда выйдет замуж, первой у нее родится девочка.

– Папа! Папа! Дай нам его хоть на ручки!

– Нет-нет! Пока его трогать нельзя. Видите, он еще слепой? Мы рано пришли. Тетя Нюра, – обратился мужчина к Сашиной маме, – можно мы придем где-нибудь через недельку?

– Добре, – сказала мама, – почакайте, добре.

Мужчина с девочками развернулся и пошел, даже не взглянув на Сашеньку, которая все это время простояла в двух шагах от него.

"Какой противный!" – подумала она, глядя вслед на его узкую спину, на покатые плечи в темной рубашке, на длинные, худые руки, за каждую из которых держалось по дочке.

– Здравствуйте, дорогой Георгий Владимирович! – сладко пропела пришедшая тоже за котенком полная пожилая крашеная блондинка Софья Абрамовна, в прошлом считавшаяся главной больничной красоткой и поэтому до сих пор привыкшая тарачить свои голубые глаза навывкате и все еще не по годам игриво молодиться. – Ой, вы мои деточки! Ой, вы мои лапоньки-красавицы! – попыталась она погладить по голове ближнюю к ней девчущку, но так ловко увернулась.

– Здрр, – буркнул мужчина.

Так Сашенька впервые услышала его имя и отчество.

И раньше, когда работала в своем дворе дворничихой, и теперь, по воскресеньям, мама ходила в Елоховский собор мыть полы, протирать пыль. Делала она это вместе с другими женщинами бесплатно. Она говорила Сашеньке, что убирать в храме ей в радость. Собор был неподалеку от двора, где они жили. Хотя мама и перешла в больницу и уже больше не работала дворничихой, комнату в пристройке к котельной оставили за ними. Комендант даже обещал, что будет им и настоящая комната – в доме. Но дело пока до этого не дошло. Они и так были рады-радехоньки: не гонят на улицу – и то слава Богу!

Прежде бывали случаи, когда мама брала Сашеньку с собой в храм в помощницы. Правда, это бывало давно, когда Сашенька училась в обычной школе, а в последние годы дочке

было не до этого – она так уставала на занятиях в медшколе, а потом на тренировках по акробатике, что разбудить ее в половине пятого утра было невозможно.

Так было все последние годы, а тут, на другое утро после встречи с мужчиной, который приходил за котенком, Сашенька вдруг проснулась сама вместе с мамой и увязалась за ней.

Храм был один из немногих действующих в Москве, кажется, на всю Москву работало церковью сорок вместо прежних сорока сороков. И тогда, при советской власти, Елоховский храм отличался богатством.

Саша мыла полы очень тщательно, так, как учила ее мама. В пустом храме гулко звякали ведра, шлепали по полу мокрые тряпки. Женщины переговаривались между собой вполголоса. Специально включенные для убирающих электрические лампочки светили довольно тускло, так что по углам храма залегла полутьма. В одном из таких плохо освещенных мест Сашеньке досталось оттирать натоптанную грязь у крещеной купели. Все здесь знали, что в этой купели крестили самого Пушкина. Вспомнив об этом, Сашенька попыталась представить себе крохотного беззащитного кудрявого Пушкина, а перед глазами проплыл тот мужчина – черноволосый, сутулый, с длинными, худыми руками.

В глубине царских врат промелькнул первый церковный служака в темных одеждах, близились заутреня. Крепко пахло ладаном, еще не выветрившимся после всенощной.

В понедельник, придя как обычно в медицинскую школу, Сашенька стала приглядываться к спящим по больничному двору мужчинам. Она была уверена, что никого не ищет, что просто так приглядывается.

Потом всю неделю она ни разу не вспомнила об отце тех хорошеньких, косеньких девочек.

В субботу зашла к маме в посудомойку, в "затишок".

Серого котенка Панночки и след простыл. Остались только три пятнистых.

– А где Панночкин серый? – аж вскрикнула Сашенька.

– А-а, мабуть, забрали, – спокойно отвечала мама.

– Кто?!

– Кто заказывав. Мабуть, вин.

– Мама, как ты можешь? – вспыхнула Сашенька. – Мабуть... Мабуть...

А если другие? – И злые слезинки блеснули в ее карих, потемневших глазах. – А если другие? А если он пропал?

– Ой, доню, доню, – ласково, беззащитно усмехнулась мама.

– Нюра! – громко окликнули ее из посудомойки. – Езжай за грязной посудой! – И тетка в заляпанном белом халате вытолкнула из дверей тяжелую четырехколесную тачку с железными ручками, на которой мама возила из отделений большие алюминиевые бидоны из-под первого и второго, алюминиевые миски, кружки, ложки, вилки. Все было неприхотливое, заранее рассчитанное на долгие годы и суровые испытания.

Из посудомойки пахнуло кислятиной, прогорклым пережаренным жиром. Вроде бы Сашенька давно ко всему принялась, а тут словно впервые ощутила этот запах так остро, что он вдруг как будто заполнил все ее легкие, забил рот и нос. Глядя, как мама катит впереди себя к больничному корпусу тяжелую гроыхающую тележку, Сашенька устыдилась своей вздорной вспышки и тут же вспомнила, какие желтые, стоптанные туфли были на нем.

"Какие дурацкие туфли! – подумала она с раздражением. – Никто не ходит в таких желтых дурацких туфлях!"

Спрашивается: какое ей было дело до туфель чужого, незнакомого мужчины?

Но она этим вопросом не задавалась, а продолжала упорно думать, какой он сутулый, какие у него длинные, худые руки. Еще, наверно, и волосатые? Под рубашкой не видно... Непонятно, в кого девочки симпатичные. Небось, в жену.

"Нет, какие у него дурацкие желтые туфли! И каблуки стоптаны, набойки не может набить!"

Она сдала экзамены на все пятерки и получила красный диплом фельдшера и право после двух лет отработки поступить в медицинский институт без экзаменов.

Мама была так рада, что даже всплакнула, кажется, впервые на глазах у Сашеньки.

– Дай, Боже, життя! – сказала мама. – Дай Боже!

Сашеньку распределили в отделение неотложной хирургии – так, как она хотела.

Первой, с кем она там встретилась, была сестра-хозяйка отделения, толстая крашенная Софья Абрамовна, та самая, из уст которой она впервые услышала его имя.

– Ой, какая ты ладненькая да какая отличница! – запела Софья Абрамовна. – Мне как раз нужна грамотная помощница. Будем работать! Не за страх, а за совесть, да?

– Нет, – ответила Сашенька. – Я не хочу работать с тряпками. Я хочу быть операционной сестрой.

– Хочешь – будь! – вдруг согласилась Софья Абрамовна. – Как раз в одной бригаде есть место – рожать девочка ушла. Пойдешь в бригаду хирурга Домбровского, – подытожила Софья Абрамовна и сразу же перестала казаться Сашеньке старой крашеной жабой.

"Домбровский! Какая красивая фамилия!" – подумала Сашенька. Она всегда мечтала о похожей.

Это была его фамилия.

## Х

У спасителя Машеньки, адмирала дяди Паши, было много страстей и причуд, никак не меньше, чем познаний в религии, философии, истории, медицине, биологии, математике, астрономии, физике, а также во всякого рода технике, как военной, так и гражданской.

При всех своих познаниях, а может быть, как раз благодаря им молодой адмирал верил в сглаз, в порчу, в заклятие, в переселение душ и тому подобное. Словом, во все то, что у людей его круга считалось блажью и дикостью. Родственники и знакомые с удовольствием потешались над его суеверием, хотя и не могли отрицать многих незаурядных, необъяснимых способностей адмирала. Например, он был известным лозоходцем, умел останавливать кровь, снимал наложением руки головную боль, заговаривал зубы, ставил диагноз по радужке зрачков, знал также десятки причудливых гаданий. Когда, бывало, неверующие фомы приставали к нему с подковырками и насмешками особенно сильно, то мог адмирал прямо на их глазах рассказать какому-нибудь незнакомому человеку его прошлое. Обычно он гадал на прошлое по руке. Гадать кому бы то ни было на будущее категорически отказывался: "Боюсь напророчить, боюсь накликать, так что не обессудьте!"

Рассказывали, что когда-то в молодости он предсказал смерть своего отца, нагадал по руке, что тот "погибнет от топора". Это предсказание тогда еще совсем молоденького гардемарина Павлика все, кто его слышал, встретили хохотом. Как это так, от какого такого «топора» может погибнуть петербургский граф, действительный статский советник, который ничего, кроме ломберного стола в клубе да бумажек в своей канцелярии, не видит и видеть не может?

Все посмеялись над юным гадалычиком, однако через два года отец Павлика действительно был зарублен топором. Случилось это поздней осенью, в сумерки, у порога его собственной канцелярии, из которой он выходил, чтобы ехать на званый ужин. Зарубил отца допившийся до белой горячки сапожник Фитюнькин из соседнего с канцелярией переулка. Сделал он это, как было сказано на суде, "в состоянии аффекта", а попросту говоря – гнался пьяный в драбадан сапожник с топором над головой за своею благоверной, а тут вышагнул на него из дверей канцелярии и встал поперек его дороги барин... Ну он и тюкнул его в висок... Дело было секундное, и никто толком не мог объяснить случившееся, тем более что произошло все в сумерках. Кто знает ноябрьские петербургские сумерки, тот поймет...

Судя по тому, что на следствии сапожник Фитюнькин то и дело повторял: "Чаво хватать?" – наверное, отец Павлика попытался перехватить топор, да тот соскользнул и угодил лезвием ему в висок, уголком... Барин был человек не из робких и силы бычьей, так что не исключено, что он сам и посодествовал несчастью, а не один только жалкий, тощий, маленький сморчок Фитюнькин, в котором, как говорится, еле душа держалась.

Так что конкретным людям адмирал дядя Паша никогда ничего не предсказывал, а что касается прорицаний глобальных, то иногда он их делал...

На всю жизнь запомнила Машенька тот вечер в адмиральской каюте, то застолье, во время которого заговорил адмирал о будущем России...

Ночь опустилась над открытым морем какая-то мглисто-черная, воровская. Порывистый норд-ост, как последний привет из России, дул прямо в корму, строго по курсу корабля. Уже в полусотне метров от борта терялись из виду в хлюпающей, шелестящей, холодной и мрачной бездне не только очертания самого линкора<sup>13</sup>? но даже его дежурные красные огоньки и белопенные хвосты волн, вскипающие по ходу стальной громадины.

---

<sup>13</sup> Линкор – линейный корабль, один из основных классов надводных военных кораблей. Имел 70-150 орудий различного калибра и 1500—2800 человек экипажа.

С трюмами, забитыми до отказа запасами угля, воды, провианта, с великим множеством бочек, бочонков, штабелей, ящиков, ящичков, в которых необходимейшие для будущих Робинзонов предметы причудливо перемежались с ненужными (например, в одном ящике плыл инструментарий для хирургической операционной, а в соседнем – партия дамских корсетов на китовом усе, вышедших из моды Бог весть когда); нагруженный сверх всякой меры штатскими лицами, детьми, стариками, униженный загонами для скота, вольерами для домашних птиц, захламленный по всем палубам сотнями чемоданов, баулов, картонок, красавец линкор натужно и как бы крадучись пробирался Средиземным морем – тем самым морем, которое привык в дни былых походов гордо рассекать своим бронированным форштевнем. Еще бы ему в те достославные времена не рассекать... Тогда за кормой у него была великая Россия, а теперь что?

Да. Теперь что?

Этот вопрос занимал всех обитателей корабля без различия пола, звания, чина. Все только и спрашивали друг друга: "А теперь что? Что будет теперь с Россией? Что будет с нами?"

Там, за черными зеркалами иллюминаторов, дул сырой, пронизывающий ветер, катили к чуждым берегам равнодушные волны; там, среди хлябей морских и тьмы небесной, все представлялось таким опасным, таким зыбким, что казалось, одна лишь тоненькая, мертвенно светящаяся стрелка главного судового компаса, только она одна и удерживает спасительную путеводную нить.

А здесь, в адмиральской каюте, сияла хрустальными подвесками электрическая люстра, тускло поблескивало на белоснежной скатерти фамильное графское серебро, вкусно пахло, хотя и постным, по случаю Рождественского поста<sup>14</sup>, но обильным ужином.

В вычищенных и отутюженных клешах и фланельках, в белых нитяных перчатках прислуживали за столом худенький вестовой Дима – совсем еще молоденький матрос, попавший на войну из студентов, и тучный старый повар Василий, за покатыми мощными плечами которого осталась весьма незаурядная жизнь. До того как еще в прошлом, девятнадцатом, веке поступить на военно-морскую службу, был он и контрабандистом на русско-турецкой границе, и сплавщиком леса в Сибири, и гуртовщиком скота в Ногайских степях, и послушником в северном монастыре. Там, в монастыре, собственно, и выучился он на повара, притом не на обычного, а на монастырского, со всеми их особенностями, знаниями, умениями, хитростями, тонкостями, или, как говорил он сам, «штуковинами». Увы, из монастыря был изгнан Василий за «прелюбодеяния» с девками из соседних деревень, но это никак не мешало ему вспоминать о той поре с удивленной гордостью и не бросать ни монастырской кухни, ни усердия в постах и молитвах.

На ужин были поданы полевка<sup>15</sup>, жареный картофель с белыми грибами, пассерованными с золотистым луком; многочисленные салаты: из редьки, моченых яблок, свеклы; винегрет с мочеными яблоками, закуска из моркови с чесноком. К чаю, к сладкому свежезаваренному чаю, предполагался пирог с квашеной капустой и ломтиками соленой сельди, обжаренными в сухарях. А как говорил Василий, на «заедку» – печеные яблоки, фаршированные изюмом и орехами.

– Даша, – лукаво взглянув на свою жену, спросил дядя Павел, – как ты думаешь, все-таки у Петра Михайловича день рождения, а?

Немолодой сорокалетний капитан первого ранга Петр Михайлович, сидевший за столом напротив тридцатипятилетнего адмирала дяди Паши, потупил взгляд так, что можно было понять – он присоединяется к просьбе хозяина каюты.

---

<sup>14</sup> Рождественский, или Филипповский, пост длится с 28 ноября по 7 января по новому стилю.

<sup>15</sup> Полевка – жидкая похлебка, которую приготавливали из ржаной муки, а точнее, из заквашенного ржаного теста, заправляли репчатым луком, сушеными грибами, сельдью и потом взбивали мутовкой до однородной массы.

– Не знаю, Павел, какой пример детям? – отвечала жена.

– А что? Если власть согрешить, то оно и Богом простится. Власть – всегда простится! – вступил в разговор повар Василий. – Анисовой, например, было бы оч-чень власть!

– Ладно, – улыбнулась хозяйка. – Бог вас простит.

И едва ли не в ту же секунду в руках повара появились штоф и две стопки – одна для гостя, вторая для хозяина.

Петру Михайловичу исполнилось в тот день сорок лет – за это и выпили. Семья его пропала без вести где-то в России – выпили за воссоединение семьи. Ну а по третьей стопке – за Родину, за Россию-матушку, за выздоровление ее от красной чумы.

– Да, Паша, – вздохнула Дарья Владимировна, – неужели и к твоему юбилею, к твоему сорокалетию мы еще будем где-то мыкаться по белу свету? Неужели не восстановится наша жизнь в России?

Адмирал дядя Павел и его гость были в парадных мундирах, хотя и без наград, Дарья Владимировна в бледно-кремовом строгом платье из тончайшего шерстяного крепа. Платье было с воротником под горло, с большими подложными плечами, по тогдашней моде, с затянутой грудью и талией, прямое от бедер и чуть расклешенное от колен до щиколоток.

Похожее платье было и на пятнадцатилетней Машеньке – Дарья Владимировна подогнала на нее свое, благо они были уже одного роста, конечно, в груди и в талии пришлось сильно ушить. Платье сидело на Машеньке ловко, как собственное, а его мышинный цвет, точнее, цвет солдатского шинельного сукна, который стал так моден в годы войны, очень шел к русым Машенькиным волосам, к нежной чистоте ее юного личика, к скромно потупленным светло-карым глазкам, почти ореховым, вспыхивающим вдруг таким светом, что ой-ой-ой!

Платье пахло хозяйкой, и этот едва уловимый, хотя и вполне приятный, но чужой запах возбуждал в Машеньке какие-то темные чувства и к тому же напоминал ей о том, что она здесь из милости, что ей лучше помалкивать. Она и помалкивала.

Сын дяди Паши и тети Даши, четырнадцатилетний долговязый Николенька, с хотимчиками на еще детском лице и чуть пробивающимся черным пушком над верхней губой был в форме гардемарина, дочери Катя и Таня, десяти и двенадцати лет, в хороших темнокоричневых платьицах с белыми кружевными воротниками и манжетами.

– Ну что, Паша, предскажи наше будущее. Ты ведь умеешь? – снова попросила Дарья Владимировна.

– Ты ведь знаешь, я не гадаю на будущее. Зачем? Что будет – того не миновать. – От трех стопок анисовой молодое, чистое лицо адмирала порозовело, отчего и усы, и черная борода-эспаньолка казались еще чернее, чем были на самом деле, а взгляд ясных серых глаз стал еще более пронзительным, чем обычно.

– Ну, папа, пожалуйста! – попросил Николенька.

– Ну, папочка! Ну, папулечка! – подхватили девочки.

– Да, Павел Петрович, пожалуйста... – поддержал семью виновник торжества капитан.

Повар Василий и вестовой Дима также замерли в ожидании и надежде услышать что-нибудь о своем будущем счастье. Что бы там ни было – все равно все надеялись на лучшее. Этим и жили.

Павел Петрович вдруг посмотрел на Машеньку долгим, испытующим взглядом: дескать, а ты чего молчишь?

Машенька встретила его взгляд, выдержала и ничего не ответила. Не смогла ничего ответить, потому что вдруг потеряла дар речи от того, что ей внезапно представилось. Ей вдруг представилось, что платье, надетое на ней, – это ее платье, а чужой запах – это ее запах; и она уже не она, а жена адмирала. Да, она, Машенька, жена Павла Петровича – его половина. А тетя Даша? А тетя Даша... пусть и такая же красивая, как сейчас, с такой же высокой грудью, с

такой же черной косой, уложенной так ловко на голове, с этими же своими бриллиантовыми сережками... а тетя Даша, наверное, его другая жена, бывшая...

"Интуиция – это созерцание предмета в его неприкосновенной подлинности", – частенько повторял на лекциях в Пражском университете профессор Николай Онуфриевич Лосский. В 1924 году Машенька стала учиться там на математическом факультете. Да, именно так, наверное, именно в "неприкосновенной подлинности" и представился ей в ту минуту знакомый с младенчества дядя Павел. И с той самой минуты и уже навсегда она стала смотреть на него совсем другими глазами, чем прежде.

Так что сейчас ей было не до предсказаний о будущем России или даже целого мира, сейчас она могла думать только о себе и о нем...

А тем временем дядя Павел перевел взор к черному зеркалу ближнего иллюминатора и сказал очень медленно в полной тишине:

– Только через семь поколений, через семьдесят лет сгинет новая власть. – Тут он снова перевел взгляд своих чистых серых глаз на Машеньку и добавил: – Одна Машенька только и доживет, изо всех нас лишь она одна...

Все огорчились и за Россию, и за себя, а на будущее долгожительство Машеньки никто не обиделся, потому что семьдесят лет представлялось всем заоблачным сроком, чего же обижаться?!

## XI

В честь своего дня рождения капитан первого ранга получил в подарок от хозяина каюты пейзажный морской бинокль во вкусно пахнущем черном кожаном футляре изумительной выделки.

Дочурки адмирала тщательно обнюхали футляр и обе нашли его запах восхитительным.

– Папочка, а из чего он сделан – из какой кожи? – спросила младшая дочь Катенька.

– Не знаю. Наверное, из телячьей...

– А я читала, что дорогие футляры делают из кожи африканских буйволов.

– Может быть, – улыбнулся отец, – тебе виднее, ты ведь у нас будущая животноводка...

Мать взглянула на свою младшенькую с привычной горделивостью и даже попыталась потрепать ее по щеке, но та привычно уклонилась от ласки; старшая сестрица Таня прыснула в кулачок, она никогда не упускала случая ревниво похихикать над маминой любимицей Катей, ей всегда казалось, что та говорит только глупости; Маша вообще пропустила мимо ушей весь этот разговор, потому что думала о своем, о девичьем; капитан был занят подробным рассмотрением бинокля; грузный повар Василий и сублинный вестовой Дима готовили в углу каюты чай и не прислушивались к беседе за барским столом – одним словом, никто не обратил должного внимания на оброненное вскользь замечание Павла Петровича о будущем его младшей дочурки, о ее грядущих успехах в животноводстве... А между тем и эти его случайные слова также оказались пророческими: всего через одиннадцать лет Катенька так удачно вышла замуж, что стала вдруг одной из богатейших латифундисток Аргентины, владеющей неоглядными землями, сотнями тысяч голов крупного рогатого скота и овец, табунами лошадей.

– Да-а, хорошенькая штука. Удружил, брат, спасибо! – Капитан чуть приподнялся со своего стула, чтобы еще раз пожать руку дарителя, улыбнулся ему и как бы одновременно всем окружающим. – Смотрите, а тут еще и монограмма. – Он показал серебряную монограмму S. P. на корпусе бинокля. – А внутри футляра что-то мелкими буквами, кажется, полное имя, я дальнзорок, так что не разберу, посмотрите. – И он протянул бинокль сидевшей рядом с ним Машеньке.

– А?! Что?! – едва не выронив тяжелый бинокль, испуганно пробормотала Машенька, которая была в ту минуту где-то далеко-далеко... где-то вне времени и пространства.

– Она не с нами! – засмеялась Дарья Владимировна.

– Я говорю, там внутри надпись, но очень мелко, прочтите, пожалуйста...

– Да, да, тут по-французски. – Машенька уже успела прийти в себя и вернуться в заданную акваторию Средиземного моря, на корабль, в каюту. – Тут написано – Серж Пиккар.

– Василий, – окликнул повара адмирал, – кажется, ты принес мне этот бинокль, как он тебе достался?

– А в Севастополе за недельку до отплытия я его у какого-то шпака выменял.

– Молодец, – сказал адмирал, – прибор отличный. Наверняка чей-то из французской эскадры.

– Где теперь этот Серж Пиккар? – философски спросила Дарья Владимировна. – На каком свете?

– Дай Бог на этом! – бодро сказал адмирал и добавил, поворачиваясь лицом к капитану:

– В своей коллекции я чепухи не держу, Петр Михалыч, хотя будущего вы, дорогой, в него и не разглядите, но на новом вашем поприще педагога морского корпуса биноклик вам не помешает.

Говоря о новом поприще, адмирал имел в виду то, что накануне убытия из России капитан был назначен преподавателем морского дела в Севастопольский кадетский корпус, в тот

самый, который плыл сейчас в эскадре вместе с ними, к которому был приписан кадет Николенка, которому предстояло отныне быть "под небом Африки чужим".

Адмирал дядя Паша оставил в России полный дом, а свою коллекцию оптических приборов спас, увез с собой в изгнание. Как говорила по этому поводу Дарья Владимировна: "Добрые люди забрали персидские ковры, старую бронзу, а мой чудик свои стекляшки с железками, всю эту чушь собачью!" Увы, она ошибалась – коллекция у Павла Петровича была уникальная и, как выяснилось позже, стоила никак не дешевле антикварных ковров и бронзы.

С детства была у Павла Петровича страсть к собиранию всякого рода оптических приборов: очков, линз, лорнетов, биноклей, подзорных труб, микроскопов, телескопов. Что касается последних, то он всегда мечтал о большом телескопе, мечтал, что, когда выйдет в отставку, купит яхту, установит на ней современный мощный телескоп (у него даже и свои соображения были по поводу конструкции) и уйдет к экватору наблюдать звезды, как говорил он, "максимально приближенными". Адмирал прекрасно знал звездное небо и, можно сказать, ощущал его как живое, как часть своей души. Он любил повторять слова Канта: "Есть только две непреложные истины: звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас"<sup>16</sup>. Страсть к коллекционированию оптики и любовь к астрономии жили в нем не от неудовлетворенности своей основной службой, а от того, что, как и многие морские чины его времени, он обладал обширными знаниями, широким кругозором и одной только флотской жизни ему было недостаточно.

В его коллекции были представлены едва ли не все стадии развития оптики. Чего здесь только не было... От маленькой подзорной трубки Наполеона Бонапарта до телескопа Галилео Галилея и микроскопа Роберта Гука, но особенно гордился Павел Петрович подзорными трубами генералиссимуса Суворова, адмиралов Нахимова и Сенявина, очками Тютчева и Фета, очками царя Михаила Федоровича и присовокупленной к ним "Расходной книгой денежной науки" царя, в которой именно о приобретении для него этих очков было сказано: "очки хрустальные с одной стороны гранены, а с другой глазки, что в них смотря многое кажется". Было в этой коллекции и еще множество диковин, как русских, так и иностранных, вплоть до черных очков судей в Древнем Китае. Свою коллекцию Павел Петрович собирал с девяти лет: что-то ему дарили, что-то он выменивал, что-то покупал. Так что эта уникальная коллекция была в значительной степени историей жизни адмирала.

В тот вечер засиделись до полуночи. Тетя Даша пела под гитару русские городские романсы. Виновник торжества, капитан Петр Михайлович, читал стихи собственного сочинения. Может быть, он и не стал бы их читать, но, зная за ним слабость к сочинительству и чтобы сделать ему приятное, его упростили почитать хозяин и хозяйка каюты.

Читая свои стихи о любви, капитан так разволновался, что его голубые глаза засияли каким-то удивительным светом, а певуче-скрипучий голос так задрожал, что, казалось, еще чуть-чуть – и этот солидный мужчина завизжит от охватившего его восторга, как малыш от щекотки.

– Bravo! Брависсимо! – с нажимом закричали в два голоса адмирал и его жена, когда чтец окончил очередной опус.

Девочки Катя и Таня увлеченно катали друг к дружке по белой скатерти шарик из хлебного мякиша. Повар Василий чуть слышно подсвистывал носом в углу каюты – дремал по возможности. Вестовой Дима старался изо всех сил погасить ироническую ухмылку – он ведь и сам числил себя поэтом, к тому же ему очень нравилась Машенька. Хмуро сидевшая Машенька, которой стихи капитана показались выпреними и неуместными в его лета, вдруг ни с того ни с сего ляпнула словами Тютчева:

---

<sup>16</sup> В действительности Кант говорил: "Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, – это звездное небо надо мной и моральный закон во мне".

– И глупой юности позорней  
Сварливый старческий задор!

Вскочила из-за стола и бросилась вон из каюты, побежала по темной палубе, запнулась о первый попавшийся баул, упала на него и разрыдалась.

Потом Дарья Петровна отпаивала ее валерьянкой, и все чувствовали себя крайне глупо и виновато неизвестно почему и перед кем.

Дядя Павел просил капитана не обижаться на Машеньку, говорил, что это у нее истерика от всего пережитого.

Капитан соглашался. Но тем не менее вечер был смят, и все разошлись удрученные и как бы сбитые с курса, которого и так никто для себя не знал.

## XII

К вечеру 21 июня 1941 года, как обычно перед ночным дежурством, Сашенька прилегла вздремнуть. Не хотела ложиться, но мама заставила: "Придрэмни, доню, хучь хвылыночку придрэмни..."

Не спалось, не дремалось. Сашенька лежала на спине, совершенно свободная от всякой одежды, под истончившимся от стирок, вкусно пахнущим чистым полотном еще теплой от утюга простыни, которую мама только что выгладила для нее.

– Мамочка, у тебя на чистоте – пунктик! – сказала ей вместо спасибо Сашенька. – Ну, принесла чистую со двора, и чего ее гладить, если мне только прикрыться?

– Ой, доню! – сокрушенно покачала головой мама. – Ой, доню! – добавила она еще раз, что должно было означать высшую степень недовольства и возмущения. Чистоту она блюла истово, можно сказать, что чистота и порядок в доме были оплотом ее жизни.

Сашенька смотрела в потолочное окошко, слегка заметенное пылью, и невольно думала о том, что хорошо бы, конечно, эту пыль смахнуть, да лень лезть на крышу, однако мама права – надо «чистить-блистить», без этого жизнь не жизнь и человек не человек. Сашенька радовалась, что завтра воскресенье и, значит, как обычно, никаких плановых операций не назначено. Только если случится что-то из ряда вон выходящее... Но что может случиться в летнюю ночь с субботы на воскресенье? Все должно быть как всегда, а значит, часов до десяти вечера будет тихо, потом пойдет поток больных, показанных к операции, а между часом ночи и тремя часами утра, перед новым потоком, опять будет затишье. И вот в это второе затишье они, как обычно, сядут в ординаторской подкрепиться: ответственный дежурный хирург, второй хирург, третий, который ходит в приемный покой осматривать больных, и две операционные сестрички.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.